

Енисей

№ 2
2016



Красноярский литературно-художественный
и краеведческий альманах



Енисей

№2 * Красноярский литературно-художественный
2016 и краеведческий альманах

Михаил ТАРКОВСКИЙ главный редактор

заместители
главного редактора:

Александр Ёлтышев по прозе

Сергей Кузнечихин по поэзии

Владимир Замышляев по публицистике и литературоведению

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Александр АСТРАХАНЦЕВ прозаик, член Союза
российских писателей

Леонид БЕРДНИКОВ краевед, председатель
историко-патриотического
общества «Краевед»

Иван БУЛАВА прозаик, первый секретарь
Сибирского представительства
Союза писателей России и Белоруссии

Иван КЛИНОВОЙ поэт, член Союза российских писателей

Марина МОСКАЛЮК доктор искусствоведения, профессор,
ректор ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный институт искусств»

Михаил СЕВЕРЬЯНОВ заведующий кафедрой отечественной
истории Гуманитарного института
ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»,
доктор исторических наук, профессор

* Красноярск
ИД «Класс Плюс»

ББК 84 (2 Рус = Рос)

Е 63

Альманах выходит благодаря
финансовой поддержке министерства
культуры Красноярского края.

Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.

В оформлении обложки использован
фрагмент картины Александра
Волокитина «Даша» (2016).

Адрес редакции:
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3,
Дом искусств

Вёрстка: Олег Наумов
Корректор: Андрей Леонтьев

Подписано в печать: 13.12.2016
Тираж: 500 экз.
Формат: 70 × 100 / 16
Объём: 16,25 + 0,65 вкл. усл. печ. л.

Изготовлено в ИД «Класс Плюс»
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 65
(строение 23) | т. (391) 2-59-59-60
e-mail: info@kacc.ru

ISBN 978-5-905791-51-2

Содержание

ПРОЗА

Владимир Нестеренко
Иван в десятой степени 5

Василий Забелло
Байкальские рассказы 51

Александр Новосельцев
Уроки литературы 63

Александр Щербаков
К слову сказать... 75

ФЕСТИВАЛЬ

«Литературное пространство» 88

Вера Глухова
«Папа, расскажи мне случай» 89

Мария Кузьмина 102

ПОЭЗИЯ

Гамлет Арутюнян 106

Вадим Ярцев
Жажда реванша 114

Юрий Беликов
Стань рекой, человек 122

Ольга Ермолаева 128

Светлана Мель 130

ЮБИЛЕИ

Сергей Кузнечихин

Бесконечный диалог 136

Ирлан Хугаев

Русский дух Марины Саввиных 161

Марина Саввиных

Стихи разных лет 163

Александр Ёлтышев, Александр Волокитин

С небес — к мольберту 181

КРАЕВЕДЕНИЕ

Татьяна Розманова

Приенисейский говор 167

МАСТЕРСКАЯ

Михаил Тарковский

О писательском ремесле 185

Авторы 195

Владимир Нестеренко

Иван в десятой степени

Для того чтобы одержать победу над собой, не надо видеть в себе врага, скорее сердечного друга и постараться ему помочь.

В. Н.

I.

Ничто не предвещало сокрушительного несчастья. Наоборот, в душе Ивана Самохина сидела внутренняя улыбка, а в простоквашных глазах горели огоньки довольства: щедрое на тепло лето и погожая осень одаривали труд хорошим урожаем. Иван нет-нет да улыбнётся сыну и скажет: «Наконец-то нынче почувствуем полную отдачу от нашего адского труда». Саша в ответ тоже улыбается и с задорной иронией отвечает: «Да, хапнем счастья!»

В рукотворных прудах у Ивана нагуливал вес карп, шла уборка картофеля и капусты, ждала своей очереди пшеница. Но основная надежда у Ивана на карпа, которого скоро предстоит отлавливать и везти на рынок, выручить денег на погашение долгов и отоварить рыбой тех мужиков, что помогали кто техникой, кто горючим, кто сварочными или другими работами. И себе в зиму останется. Не зря завязался с рыбой! Картошка тоже доходная, но она навевала некоторую тяжесть: непросто её убрать и продать. Тонны, каждый клубень должен побывать в руках, да не раз, пока за него копейку возьмёшь, а вот пруды с карпами, хотя придётся до упаду хлюпаться в холодной воде в болотных сапогах, вызывали лёгкость и улыбочивое настроение, будто в душу задувает тепло, а карпы лезут к тебе своими мордами с поцелуями. Тут же радует глаз и душу дикий утиный выводок, что всё лето укрывался в рогозе и камышах, прыскал дробью, когда кормился у берега на открытой глади, а ты, долговязый и любопытный, осторожно подходишь, и он от тебя — бисером! Саша за спиной, готовый молодецки свистнуть и хлопнуть в ладоши: мол, вот я вам! Но отец предостерегающе поднимает руку: не надо, Саша, пугать соседей, они же мирные люди. И сын соглашается и в другой раз уже не стремится озорничать, а так же, с любопытством и наслаждением, долго стоит и прислушивается к жизни в зарослях, как шуруют своими лопаточками утята плавучие водоросли, как процеживают воду, оставляя на язычках красноватых рачков — дафнию. Теперь этот выводок, а может, и два, встал на крыло и ранними утрами, набив зобы пшеничными или ячменными зёрнами, возвращается с жёлтых нив на постоянное

место жительства — его пруд. И какой солнечный восторг охватывает, когда пернатые соседи на бреющем полёте проносятся над прудами и — ш-ш — садятся на притихшее зеркало и укрываются от глаза в зарослях рогоза. Как тут не возгордиться: ведь это на твоём пруду вырос такой крупный выводок дичи! Ты можешь в него пальнуть из ружья, подстрелить — кто запретит? — но зачем? Он не твой, он свободных просторов дитя, пусть живёт!

Лирик Иван был между тем не в меру упрям и одержим идеей самостоятельного труда: якобы он принесёт ему не только материальные блага, но и душевное успокоение от верно выбранного дела. На этой почве он крупно разругался с женой. Она ни в какую не соглашалась на его уход от тихой и мирной работы страховым агентом — чистой, спокойной, не связанной с тракторами, от которых появилась мазутная одежда, и её надо часто стирать. Она не может терпеть грязь и запахи солярки, категорически потребовала первым делом купить ей иностранную стиральную машинку, какие стали появляться в квартирах у партработников. Но этот аргумент был как бы в пристяжку: главный — тот, что не верила она в дарованные партией свободы, и пройдёт какое-то время — человека захлестнёт удавкой отмена вольностей, называемых демократией, которой на Руси никогда не было. Чего греха таить, Иван и сам подумывал о том же, но кто-то же должен первый черпануть этой свободы и посмотреть, каково выходит, насколько он будет как человек крупнее, а в кармане ощущать тяжесть от тугого кошелька. Всё же Иван живёт вместе со своим затурканным народом, и, понятно, ему небезразлично, как будет дальше строиться страна, какова роль отводится Самохину, как же он будет жить дальше вместе с нею. А родина милее дважды, когда она даёт своему гражданину есть сытнее, а пить слаще. Но не только этот стимул во главе угла; ему, как русскому первопроходцу, не терпится узнать, что там, за горизонтом, какие земли, какие в недрах богатства, можно ли их взять. Иван помалкивал о своих мыслях — засмеют, особенно Ульяна и её родной дядя Андрей. Иван простой мужик, но почему ж крупные мыслители, вроде писателя Солженицына, могут слыть патриотами, а он нет, что ли? Если он равнодушный человек, что ж теперь — душу на замок запереть и сопеть в две норки?

— Понимаешь, Уленька, надоела мне эта сыромятина — знаешь, делают ремни из сырой кожи, они никчёмные, высыхают быстро, скукоживаются, вот и у меня дело сыромятное, и сам сыромятный, скукожусь скоро, если не возьмусь за отделку свою. Я чувствую: смогу изменить нашу убогую жизнь. Только самостоятельный хозяин сможет свободно дышать.

— Глупости, точнее, глупец, — не приняла Ульяна аргументацию мужа, — мало тебе забот по своему двору. Свободы захотел! От кого или от чего?

Иван хотел быстро ответить, вроде у него всегда был ответ на подобный вопрос, но когда его задали напрямую, ответить не смог, что-то замямлил невразумительное, разводя руками.

— Учти, горе луковое, нет и не будет никогда и нигде свободы. Свободными были разве что Адам с Евой до вкушения запретного плода. Правда, теперь божьи свободные. Им ни один закон не писан, а ты по законам обязан будешь работать, контролёров за тобой вереница потянется.

— Потянется, — согласился Иван, — отобьюсь, я законопослушный.

— Давай-давай, только меня огради от будущих неприятностей. Я хочу жить спокойно и без страха. Забыл, что у нас реформы без избиения людей, слежек, психушек, уничтожения деревень не обходились? А в итоге — в магазинах очереди, продуктов и товаров свободно нет, да и зарплаты наши мизерные. Вся эта политика — очередное шараханье с завязанными глазами. Наткнутся на острый угол, разобьют в кровь лицо, сбросят повязку с глаз и начнут избивать ведьм.

— Нет, теперь берутся всерьёз и надолго, — отбивался Иван ленинскими словами, понимая зыбкость нарождающегося дела от тех мизерных финансовых вливаний в фермерство, которые делало государство; но хотелось верить в новую вежу, а она без одержимых мужиков не укрепитя.

Ульяна у него хоть и высокообразованная особа, общественные науки преподаёт в школе, но прислушиваться к её мнению по этому делу не с руки: всё равно у женщин мозги не те, и взгляд близорукий, и ориентиры будущих выгод размыты, как в тумане. Только и ему признать надо: одержимость мужиков на бесшабашности держится, никаких серьёзных расчётов в основе фермерства не лежит, а только слепая вера в новое и удачливое время. Обман, если короче и честно. Но Ивану такую правду признать не в жилу.

— Ладно, посмотрим, кто из нас близорук, — в сердцах оканчивала спор Ульяна, — посмотрим, как будешь обивать пороги всяких контор, как нервы на кулак мотать, не раз покаешься, рад бы бросить, да завязнешь в мёртвую. Затянет тебя эта частная тряпина! И книжки теперь свои отчитал!

Уела его Ульяна, ничего не скажешь. Осенний день короткий, а дел в хозяйстве невпроворот. Успевай, крестьянин, шевелись, вставай с первым бликом солнца, ложись к полуночи. Если на всю катушку загружать себя, то и этого света хватит с избытком так уломаться, что едва ноги несёшь к постели. У Ивана прыть велика, подгонять ни его, ни сына не надо. Но есть и у него своя болячка. Не жаворонок он, а сова, лучше припоздниться с делами, чем с петухами вставать, утренний час сна для него дороже двух вечерних, но всё равно старался в страдную пору этот час урывать для дел, обкрадывать себя, прерывать свои сладкие сны. И вторая беда: любит он почитать. Иной раз попадёт какая книга — до первых петухов зачитывается.

И Ульяна такая же захлёбистая любительница. Только утрами в кухне, за скорой готовкой завтрака, слышно её ворчание:

— Подсунула же нелёгкая этот роман, оторваться не могу, и ты туда же. — Что ж поделаешь — интерес, — мурлыкал Иван в ответ, окатывая лицо и грудь холодной водой из крана. — Не хлебом единым жив человек. Как не заглянуть в книжку, не насладиться музыкой хорошего слога?

Читать с женой любили всё подряд из двух «всемирок». В молодости, в середине семидесятых, Ульяне удалось подписаться сначала на «Библиотеку всемирной литературы», ещё основанную Горьким, а затем на детскую «всемирную». Там можно было найти всё, что душа пожелает. Само собой, по мере поступления изданий читать не успевали, большинство оставалось на потом, прикупали и тома современников; словом, библиофилы оказались страстные, библиотека собралась под тысячу томов. Иван своими руками сделал стеллажи из досок с учётом пополнения, обжёг их паяльной лампой под орех, покрыл лаком, и всё это устроили в одной из комнат, где спали и занимались дети. Залюбуешься на творение рук и ума человеческого. Иван, бывало, с Ульяной не могли нарадоваться собирающейся библиотекой, пестрящей разноцветными обложками с великими именами, и немало гордились перед знакомыми и друзьями, сея в них зависть. Нырнут в этот всемирный храм мысли, выберут по настроению и с упоением читают. Порой до взаимных упрёков доходило: то обед из-за чтения не приготовлен, то уборка квартиры отложена Ульяной, то по хозяйству Иван что-то упустит. Приткнётся к дверному косяку, вроде сейчас побежит по делам, и стоит на одной ноге, как цапля, с книгой в руках, кусок выхватить старается; а читать любил неторопливо, не по диагонали или с пятого на десятое, а смаковал и слог, и фабулу; до того достоинств, что Ульяна подойдёт и с бранью отберёт книгу, вытолкает его за двери. Иван вспыхнет, но тут же виновато остынет. Потом договорились: книги не должны мешать хозяйственным делам; не нарушать тех сложившихся в семье добрых, дружеских отношений и обязанностей, какие выношены до появления библиотечной страсти, иначе может рухнуть семья. Согласились с выработанным правилом и старались его соблюдать. Не всегда удавалось, но на замечания друг друга не дулись.

Но вот в последнее время, когда хлынула новая «зарубежка» — остросюжетные, любовные и детективные романы, — все условности пошли наперекосяк. Новизна поглотила обоих. Правда, первый отрезвел Иван. Прочёл несколько романов запоем, но вот чудо: не помнит почти ни одного из них по содержанию, все какие-то на одно лицо, как обезьяны на ветках, — и бросил это чтиво, а Ульяна пуще прежнего ударилась. Даниэлу Стил просто боготворит, а Агату Кристи ругать стала, сухомятиной обзывая. Иван в этот процесс себя не дал втянуть, не до пустого чтения в работную пору. Зимой только

стал урывать, в три студёных месяца, когда всё в снегах тонет, а он в романы погружается, в завораживающий художественный мир. Но проходит и эта пора, и снова забот полон рот, как в эту осень.

2.

Дело своё Иван начал ещё при советской власти. И, можно сказать, прошёл два этапа становления. Недалеко от райцентра, в живописной излучине реки, был старый заброшенный карьер, который постепенно превращали в свалку. Поднялась же рука в таком-то месте гравий добывать. Он тут вперемежку с глиною, некачественный, бросили копанину, а теперь люди с сомнительной совестью принялись загаживать отходами не только котлованы, но и берёзовые пляшущие рощицы, сосновые выбеги к речке, что клиньями врезались в лиственный лес. Лесные охранники, что на вертолётах, бывало, делали облёт угодий, говорят: клинья эти на журавлиную стаю похожи, потому и местечко это называется Журавлинка, а далее, за речкой, смешанка: сосна с кедром да всё с той же белоствольной кудрявицей, — Груздевка, в августовские дни люди вёдрами груздь выносили; только скудеть стали угодья от набега городского транспорта и беспощадного рыска грибников. А ещё подальше — Государевка, чернозёмная, хлебная.

Вот Иван и облюбовал застарелую копанину для будущего рыбного хозяйства. В молодости приходилось ему работать на карповых прудах. Нравилось кормить рыбу с мостков и с лодки, наблюдать, как бурлит она кипятком в котле, хватая корм. Озеро было не сливное, на русле речки стояло, глубокое, рыбу всю отловить не удавалось, оставалась на зимовку и в следующие сезоны выбухивала под три, а то и под пять кило. Как азартно наблюдать за такими сутунками, когда они косяком подходят к лодке кормиться, схватят — и в пучину, отсалютовав шлепком по воде хвостищем с добрую лопату. Мириады брызг алмазами сверкают в лучах! Душа от восторга замирает. Ничего сложного, казалось тогда. Корми рыбу лето, осенью ставь ставные невода и забирай сачками килограммовых толстоспинных горбатых красавцев — и в магазин. Вспомнилось всё это, показалось, что теперь сам сможет занять свой водоём и давать горожанину деликатес. Надоели ему бумажная работа и житьё в двух лицах: днём агентом, в чистеньком костюмчике, при галстукe в горошек, а утрами-вечерами да в выходные у себя на подворье со скотом крестьянствовать. Подойдёт осень — он на совхозном комбайне хлеба молотит в качестве привлечённого механизатора. Добивался неплохих намолотов, входил в десятку лучших, зерном щедро отоваривал совхоз, премиальные подбрасывал, которых хватало съездить в санаторий. Всё вроде в ажуре у него. Однако сдвигалось перестройкой всё привычное, будоражило. Нюх, как у зверя во время гона, обострился на хозяйствование, завертелись в башке мысли, ежедневный трёп про перестройку, про пустеющие магазины, про ошибки в строительстве

самого передового общества накалял душу, поверилось, что только свободный труд миллионов (читай — собственников) способен перестроить экономику. Вот и решил своим плечом подпереть перестроечные идеи и жить в одном лице, обеими руками крестьянское дело вести, а не очертеневшие страховки заполнять. Почуял он, как зверь добычу: его это дело, его! Сам первый секретарь райкома, тогда ещё комитеты силу не потеряли, ещё не отменена была шестая статья основного закона о руководящей и направляющей силе партии, приехал на участок, встал на берегу речки поодаль карьерных ям и говорит, указывая на колок берёз:

— Вот на те берёзки ставь забор и хозяйствуй, кооперируйся. Моя поддержка полная.

Иван удивился: зачем столько земли?

— Ты же сам говорил, что по технологии на прудах должна быть водоплавающая птица, утка или гусь. Возьми гуся, он пастбищная птица, летом на подножном корме жирует, а утку зерном надо кормить. Где ты его столько возьмёшь? Гуся забьёшь и продашь.

Разумно. Давай тут же с секретарём Ланчиковым считать, какой приварок к рыбе даст гусь. Озолотиться можно! Если с головой. Только не прикинул секретарь, чьими же руками такую прорву гуся ощипать, выпотрошить. Это же не бройлер на конвейере птицефабрики. Никто в кооперативе ему автоматическую линию не построит: не гусятинная ферма, а только подспорье в несколько сот голов. Ивану тоже невдомёк, никогда гусём не занимался. Выходило по принципу: шапками закидаем, если какой супостат к нам сунется! Но авторитет секретаря сработал. Поверил Иван в такую простоту, как сосунок-ребёночек. Отгородил площадь — правда, не такую, как показывал Ланчиков, вдвое меньше, куда ж столько, ведь за неё рано или поздно налоги платить придётся. У него главное дело всё же — карп.

Со строительством прудов Ивану повезло: местным дорожникам понадобился грунт для отсыпки районной автотрассы, причём почти от его хозяйства начиналась отсыпка, а карьер весь в гравийно-песчаных шишках, перемычках. Вот и поставил Иван условие: берите грунт, но и очистите мне весь бассейн, дамбы отсыпьте. Технику к тому же на ночь на его базе стали оставлять. Пошло дело обоюдное: у Ивана в кооперативе из четырёх человек бульдозерист оказался опытный, Гоша, в выходные он садился на бульдозер и ровнял дно будущих прудов. Тут же строился бассейн для зимовки малька и временного содержания товарного карпа. С материалами туго, но Ланчиков помогал, пока власть была. Потом Иван сам старался. Словом, за два лета построили и бассейн, и гараж, и слесарку с инкубатором, в первую очередь электролинию протянули, подстанцию поставили, малька купили и запустили для нагула.

Тут и времена Ельцина-разрушителя пришли. Иван о лопнувшем Союзе не сильно-то печалился: гигантские империи рано или поздно

рассыпаются. Но это другой вопрос, всякому не по зубам, на его ферме не решаемый. Иван по другому поводу досадует: обещал президент всем фермерам инженерные коммуникации за счёт бюджета построить, техникой обеспечить и прочее, прочее. Но обманул! Ивану не привыкать к обману, от него ушёл работать на землю, не трещать языком, подлизывая лживые слюни, а чтоб самому что-то создать осязаемое, по малой крохе, как тот японский служащий, помалу начавший собирать капитал и на закате лет выросший в миллиардера. Иван миллиардами не грезит, не тот у него масштаб. Душа не та, мир на коленях у его ног ему не нужен. Он в другом хотел бы разобраться: не в том, как власть поступает, а в том производном, что происходит от её поступков. По принципу: имя-то у тебя хорошее, а каков сам человек? Иван ворохнул мыслями и сказал себе в усы: седина у каждого человека может посетить голову, а вот посетит ли мудрость? Ивана, похоже, вместе с верховной и местной властью, не посетила. Скорее, жену Ульяну посетила, когда она возражала против кооператива и потом против фермерства. А как хотелось Ивану поддержки и согласия. Любил он обсудить, обмозговать с женой самые мелкие дела в своей семейной жизни, а уж такой шаг сам Бог велел со всех сторон рассмотреть, в умственных лучах просветить, прополоскать языками, вывернуть наизнанку и только тогда сказать: добро или отбой. С согласия и одобрения любое дело движется легче. Но Ульяна никакой лёгкости не пророчила и как в воду глядела.

Никто ничего свободно не давал: ни деньги, ни материалы, ни технику. Иван обивал пороги исполкома, рыскал по совхозам, урывал по крохам и при создании кооператива, и потом, оставшись один после его ликвидации, приняв статус крестьянского хозяйства. Целый год крутился один, нанимая случайных людей: никто не хотел батрачить у частника. Не укладывалось такое положение в умах людей: батрачить! Сшибить деньгу на коротком подряде — пожалуйста! И ломали за работу втридорога, будто фермеру казна золотых червонцев через край насыпала. Вот злобредность какая. Тут и Ульяна норовит его ущипнуть укором, надеясь, что не выдержит муж, бросит всё к чёртовой матери, вернётся с небес на землю. Но он — как квашня, которую надо подбивать несколько раз, чтобы довести тесто до кондиции.

Иван ждал с нетерпением, когда отслужит сын, а вернулся — впряг не без убеждения и наглядного результата своего труда крепкого и работающего Саньку. Сын — его гордость. Весь в него, только более хваток и в учёбе, и в службе. Вернулся старшим сержантом, легко сдал вступительные экзамены в институт. И вообще, парень — загляденье. С ним-то и пластался Иван с середины лета. В этот роковой день занимались переборкой и просушкой подмокшей под дождём картошки для продажи. Ухайдокались, волохая мешки туда-сюда, пересыпая, перебирая и снова затаривая в грузовик, чтоб завтра поутру отчалить на базу да следом подготовить новые пять тонн.

Грузовик загнали в гараж, боясь ночной сырости и дождя, включили тэн, чтоб сушил воздух, и к полуночи, едва волоча ноги, упали на кровати, уснули мертвецким сном. Иван, не говоря уж о сыне, ночью, как на грех, против обыкновения, до ветру не вставал, и утром, ещё по тёмному, это и случилось.

— Папа, пожар!

Нет, он никого не обвинял в поджоге. Врагов у него не было — во всяком случае, он так думал. Кто его знал раньше, не замечали за ним ни злобы по отношению к соседям, ни зависти, ни угрюмости. Он, правда, и не был человеком — душа нараспашку, но в меру компанейский, убедительный в разговоре и твёрдый в убеждениях. Ходил он раскидисто, его высокая фигура венчалась пышной шевелюрой в берете, с носатым лицом и светлыми глазами. Теперь он выглядел несколько угрюмо, но это от того тяжкого хомута, который набросил на свою шею, и часто по-каширински, имея в виду власть, обещающую поддержку, как золотые горы, восклицал: «Эх, ви-и...» Особенно угрюмы были его мысли от злости на самого себя, поверившего в правительственный трёп, как бы вставшего к кузнечному горну, в котором горел сильный огонь, есть уже добела разогретая чушка, есть и наковальня, а в руках только маленький молоток, и нет щипцов, чтоб зацепить чушку. Нет и подручного — один! Отсюда всё и вытекало. И с пожаром: не успел приспособить безопасное место для сушки обуви и одежды. Виноват сам: близко поставил к тэну резиновые сапоги. Они, наверное, и вспыхнули, хотя не раз так сушил обувь в сушилке, специально сооружённой в углу гаража, в котором впритык размещалось четыре единицы техники. В жаркой клетушке вялил рыбу, доводил до кондиции гранулированный рыбий корм собственного изготовления. И всё обходилось. А в этот раз вспыхнуло.

Иван и Саша спросонок растерялись, хотя воды было много всюду: и в огромной ёмкости, что стояла в слесарке, отгороженная от гаража стеной, но с дверью, и во второй, поменьше, где гусей парили перед обработкой пуха, и в двадцати шагах в пруду. Но чему быть — того не миновать. Попробовали тушить насосом из скважины, но шланг, лежащий на крыше сушилки, перехватило огнём, и пока ждали и догадались о перехвате, упустили минуту, а надо бы сразу вёдрами, вёдрами заливать! Иван потом вспоминал эту горькую потерянную минуту, и его брала оторопь: как же так он сплеховал и сыну даже не отдал команду — хватать вёдра и заливать огонь, пока вода не пойдёт из насоса! Хватились, а огонь уже вырвался из сушилки и полыхал под крышу гаража, и стеллаж деревянный мазутный с запчастями занялся, а машина с картошкой стоит рядом. Плескнули несколько вёдер — вроде утих огонь, да обманно оказалось, он ушёл в перекрытие и там, скрытый от глаза, занялся. Нет чтобы добить огонь внутри, казавшийся уже неопасным, — взяли машину выгонять, а то как от жара бензин в баке взорвётся! Машина завелась сразу же,

распахнули ворота; пока выгоняли машину вдоль стопок кулей с картошкой, загасший было от нехватки кислорода в угаре этот огонь от свежего притока оживился, будь он неладен, заплясал, окаянный, взял силу, и опять потерянные минуты не вернёшь, и уже на улице, Боже ж ты мой, крыша, толем крытая, занялась! А на ней кабель на деревянных низеньких треногах, что с опоры в цех подавал напругу (электричество) — так по-простецки говорили мужики. Принялись вёдрами тушить огонь на крыше, забыв о кабеле, который тоже потрескивал от жара и дымил смрадно. Иван с озера вёдра носит, а сын забрался на крышу и поливает...

— Нет, не потушить! — взвился отчаянный крик сына: огонь, как верховой пожар в тайге, курьерским поездом так и дерганул по толевой крыше.

— А-а,— отчаянно взвыл Иван, выплёскивая в огонь очередное ведро, и внутри у него всё вздыбилось от своей беспомощности.

Это было близко к отчаянию, к тому, как вспыхнувший сухой лист газеты, очень для тебя дорогой, а ты не знаешь, как его погасить, как спасти от огня, как сохранить эту ценность, эти очень дорогие строки, ты в растерянности, в панике, не знаешь, что делать. С отчаянным воплем пытаешься скомкать лист руками, но пламя уже не загасить, оно схватилось широко, по всему листу, жжёт руки, и ты отдёргиваешь их, обожжённые.

— Гони в пожарку на «газике», может, успеют залить!

3.

Пожар унёс почти всю крышу, потолки, только и отстояли прибывшие пожарники комнату отдыха да слесарку. Стены, правда, остались: нескораемые, построенные по иностранному рецепту из песка, цемента и древесных опилок — так называемый опилкобетон. Но и он местами почернел и брался коротким синим пламенем. Охать и ахать без толку. Иван сочувствие принимал от мужиков молча. Расклинивало душу пожарище, забивало клин за клином хряско, без звона; душа у Ивана не твердынь какая, а мягкая, податливая, вот и идут клинья с дьявольского размаху, вместе с чёрными головешками, и сидят там, дозируют горечь и боль от неудачи. Он не слышал, чтобы кто злорадствовал. Может быть, Гоша, бросивший Ивана после того, как кооператив был закрыт и предстояло им стать частниками как основателям хозяйства. Но Гоша прикинул: два медведя в одной берлоге не живут,— получил компенсацию за свой вклад и ушёл снова к дорожникам, где и работал до этого. Ивану некогда слухи выуживать, да и к чему? Время к зиме, не к лету. Или бросать всё по совету жены, или восстанавливать. Бросать жалко, вроде дело пошло, уже торговал Иван выращенной в прудах рыбой и мальком карпа. Заводы в городе, что имели рыбные цехи, с удовольствием брали здорового, нагулянного на воле малька. Думал крепко, разбирая

горельник, глядявываясь в зеркальную гладь прудов с вставшим на мелководе рогозом с цилиндрическими шоколадными семенниками, безразлично взиравшими на Иванову суету. Не послушал никого и жену, требующую бросить всё к чёрту, а решил восстанавливать сгоревшее. Малька, что вырос в малом пруду, пустил зимовать для следующего лета. И родился у Ивана план, но до поры до времени он о нём помалкивал.

Приехал старый товарищ Виктор Шелестов, фермер, по профессии строитель. Смолоду по сельским стройкам мотался, последние годы холостяжничал при такой-то жизни; правда, в прорабы выбился и в Предгорном, куда его забросила прорабская судьба, руководил строительством типовых панельных домов для местного совхоза. Стройка развернулась лихо, поднималась улица, но экономика в стране забуксовала, потянулись простои, впереди замаячила новая смена жительствова. Виктор за эти годы в Предгорном прибывался то к одной, то к другой вдовушке; наконец выбор его пал на энергичную блондинку, бывшую доярку, а теперь бухгалтера сельсовета. Отрываться от неё не хотелось. Дух фермерства уже витал по весям и заразил новоиспечённую супружескую пару, и оба с головой окунулись в крестьянское дело. Виктор построил прекрасный коровник, склад, теплицу под стеклом, пробурили ему за счёт бюджета, единственному на всю округу, глубинную скважину, а вот совета Ивана не послушал — первым делом, как он сам сделал, электричество подтянуть на ферму. Купил дизель-генератор, освещался им. Но дело это ненадёжное, хлопотное, механизм — он и есть механизм, он обслуги требует, догляда, а его в хозяйственных суতোках постоянного не было, стукнул двигатель, встал. Словом, греха набрался. Да и сам он не крестьянин, а строитель, далёкое от него дело, а на его первый взгляд простецкое. Зато любо-дорого посмотреть со стороны на хозяйственные постройки, а дальше — догадываетесь? Всё свалил на жену: она глава хозяйства. И для банка платёжки готовит, и все дела там вершит, и в налоговую инспекцию отчёты, она же и коров доит, которых правдами и неправдами приобрели десяток, столько же телят на вырост и быка-производителя. Настоящая микроферма! Она же и молоко сепарирует, и сбыт ищет. А его непросто найти, когда в селе три табуна ходят, а заготконтора приказала долго жить. Был бы город под боком, утречком по организациям прошвырнулся, распихал сметану, творог, молоко — и назад. Но город далеко, почти сто километров. В жару без молочного холодильника поили коров молоком же. Самоедство!

Пожарище, особенно при постороннем человеке, удручало. Обугленные стропила, брус перекрытия, головешки на земле, растасканные баграми пожарников, побуревшие стены, казалось Ивану, то кричат изуродованным ртом от боли, то стоят угрюмые в своём чёрном молчании, злые на бесшабашность и беспомощность человека, то есть

его, Ивана, а ему и сказать нечего в своё оправдание за спалённую постройку. Теперь Иван точно определил причину и свою вину: нечего было ставить, как всегда, сапоги у тэна. Он вспомнил, как в другие разы вставал ночью и убирал их или выключал печку, а нынче тоже думал встать, но как улёгся на постель, так и отрубился на четыре часа. А этого хватило, чтобы сапоги вспыхнули, а за ними — сухая до звона деревянная сушилка.

Рядом пруд, насмешливо сверкая гладью воды, серебрился во всплесках сытого карпа. Пруд для Ивана как живое существо, он даже с ним иногда разговаривал, всматриваясь в мелькающие тени в пучине. Это одно успокаивало и обнадёживало на будущее, а без надежды будущее видится менее привлекательным, чем прошлое. В то же время до отчаяния вызывало восклицание: надо же такому случиться, а как всё хорошо складывалось, и вот — коряга в невод!

Виктор тоже едва в прошлом году не сгорел от буржуйки, но вовремя заметил, как пол зашаял. Посчастливилось, спать ещё не лёг, залил водой. Постоял, посмотрел, сказал:

— Это беда. Считай, пропал ты, Иван. Слышал, жена разводом грозит? — Грозит, проформы ради. Пугает, но я не из пугливых. Соберу помочь, обустроюсь. Пойдёшь?

— Не помогут, — покачал головой Виктор. — И я тебе только советом могу помочь, как лучше кровлю поставить, а больше ничем. Сам пурхаюсь с уборкой да скотом. Каждый ныне так. Я тебе по секрету скажу: добровольно в каторгу вляпался, и ты тоже.

Не поверил Иван в чёрствость своих родственников, которых у него в Предгорненском районе восемь семей.

План его детскими воспоминаниями навеян. Вспомнил Иван, как отец-фронтовик собирал помочь для закладки фундамента под новый дом ещё в сталинские времена. Заготовил материалы, собрал родственников: двое родных братьев, зять, двое двоюродных да двое дядьёв, сам восьмой. Закипела стройка: кто канаву копает, кто бетон в окоренке замешивает, кто опалубку ставит. И — ух первую порцию с окоренка, поставленного на чурки вровень с опалубкой, аж брызги полетели Ванюшке прямо в лицо, едва на ногах устоял. Вот смеху-то было. День летний, разгарный, пораздевались мужики до пояса, кричат: «Неси-ка, Ванюша, кваску нам холоденького, жар в грудях залить!» Ванюшка рад стараться, побежал к маме, она на кухне в старом домишке обед мужикам готовит вместе с золовками, достала из подполья ведёрный бидон квасу, налила в бидончик поменьше, две кружки подала: «Беги, пусть мужики пьют на здоровье, кваску припасено много».

Ванюшка — бегом, запнулся, упал, бидончик набок, но тут подхватили его чьи-то руки. Бидончик с плотной крышкой был. Чуть только пролился квасок, крышка не дала, да и Ванюшка посудину старался на весу держать. Словом, смеху и шуток наслушался, напились мужики

и говорят: «Ты, Ванюша, не торопись, но поспешай, гляди в оба и ворон не лови. Вон как твой братишка, хоть тоже мал ещё, а воду в бетон исправно из шланга подаёт».

Из шланга всякий сумеет. Бочка такая огромная стоит, а в ней кран, на кран шланг надет. Вот этим шлангом и заведовал Гришка, на целых пять лет старше его. Мужики скомандуют лить — он льёт, скомандуют «стоп» — он шланг перегнёт и держит. Один раз ворону словил, выронил шланг, он и взялся хлестать водой. Хорошо Ванюшка рядом случился, вовремя аварию прикрыл.

Славно поработалось тогда. За два дня фундамент залили, опилкой прикрыли и песняка вдарили под самогончик! Удалая компания оказалась. Напослед чуть не подрались меж собой, заспоривши: у кого глаз оказался верным, кто фундамент как по уровню выставил? Но тут же помирились братья, когда отец Ванюшки показал, как он бутылку с водой вместо уровня применял.

Почему бы не повторить урок пройденный, со старинных православных времён перенесённый во времена безверия? Недаром говорят: всё новое — хорошо забытое старое. Почему не пойти тем же путём, не собрать помочь? Погожих дней две недели осталось. Не отловит малька, не посадит на зимовку под крышу — считай, придётся завязывать с рыбой. Иван вдохновился, кинулся в банк за льготной ссудой, чтобы пиломатериал и шифер закупить, — не дали льготную погорельцу.

Сунулся к главе района за помощью, чтобы тот нажал на банк. Валентин Фёдорович, с виду мягкий человек, с обрюзглым лицом и мешками под глазами, с явной патологией почечника, но на деле резкий и гневный, долго упрекал Ивана за ротозейство, вычитанное им из акта пожарников, хмурился, отворачивался от прямого взгляда фермера. Был он из тех партийных секретарей, которые вместе с Руцким образовали в партии демократическое крыло, точнее, выбросили нелепый лозунг: коммунисты за демократию, — хотя коммунисты по природе своей и по мысли изначально должны являться самыми первосортными демократами. Этого политического сучка Ивану никак не разгрызть, не понять. Масло масляное получается.

— Не крестьянин ты, Иван Николаевич, не крестьянин. Хотя вырос в селе, и в подворье рогатики стояли, и хлебá молотил. Бывал я у тебя на ферме, не ухожено хозяйство. Как-то всё нарастопырку! — глава руками, пальцами холёными показал эту растопырку; кресло под ним мягкое, кожаное, вертящееся, он сидел и слегка покачивался. — Я люблю правду человеку в глаза говорить. Потому и говорю о тебе так, как думаю.

«Правду вы все любите», — зло подумал Иван и вспомнил придуманную им фразу: «Я не верю людям, сидящим в вертящихся креслах, управляющим правдою будто бы. Слово — дело, тень мелькнула, нож окровавленный. Брут то был! И ты тоже Брут, не иначе. Кинжал твой — та красная книжица, под сердцем носимая, а теперь выброшенная».

— Рук не хватает. Вот окрепну через год-два, найму надёжных мужиков, буду платить хорошо, подберусь. А пока я за десяток человек лямку тащу. Десяток новых профессий освоил. . .

И тут же осёкся, вспомнил, как прошлым летом его старый приятель, главный инженер совхоза, интересовался его делами. «Помаленьку идут, через пару лет приезжай в гости, Слава, встану на ноги, шашлык из карпа приготовим, посидим по старой памяти у костерка». — «Не через два, а через пять, Иван», — не согласился инженер. «Пять не пять, а через три встану». — «Пять, Иван, пять. На это и настраивай себя. У тебя возможности очень ограничены».

«Как в воду глядел Славка, теперь и пяти лет мало будет», — зло подумал Иван. А глава бубнил:

— Тебе не на кого пенять, знал, на что идёшь. Фермер и должен быть многоруким и многоголовым, всё должен уметь делать и перед трудностями не пасовать.

— Я не пасую, пластаюсь день и ночь на ферме, просьбами всякими лишний раз начальству не досаждал, а сейчас помощи прошу в несчастье. Понимал, что нелегко придётся, но что так трудно, не представлял. А всё из-за того, что в очередной раз обманули нас, мужиков. Построил бы президент, как обещал, инженерные сети, пожара бы не случилось. Я ведь сам всё по электрике делаю. Нанимать спеца — карман пуст. Новый трубопровод, а он полторы сотни метров, сам варил. Медленно, но зато бесплатно, — помолчал и зло добавил: — В Голландии, говорят, дойку компьютер контролирует, а мне парилку автоматическую для запарки гуся негде купить, сушилку для корма заводскую днём с огнём не найдёшь, зато спутники в космос продолжаем швырять. — Я знаю, что ваш брат умеет виноватого найти. Только толку от того никакого. У меня ресурсов нет. Пиломатериала даже вот сейчас не могу тебе дать. Не раньше, как через пару недель, напилят для местных нужд. И с кредитом ужесточили. Впрочем, под двадцать восемь процентов — пожалуйста.

— Спасибо за обдираловку! Насколько мне известно, даже в глухие сталинские времена кредит сельчанам давали под два-три процента на несколько лет гашения. А Столыпин и того льготнее ссужал деньги переселенцам. И процент малый, и срок гашения десятки лет. Но бо́льшую часть списывали за счёт казны, — обвинительным тоном выкладывал Иван.

— Начитан ты хорошо, знаю. Только проку с того, говорю, никакого. Впредь заруби на носу: ершистых никогда не любили, ни при Советах, ни при демократии, — резко отчитал глава района просителя.

— Спасибо, поговорили! — в сердцах ответил Иван, встал и ушёл, погоняемый злостнейшим взглядом демократического главы, который уже однажды намекал на приглашение на рыбалку.

Иван, помнится, обещал пригласить, как только рыба подрастёт, да как-то в делах запарки забывал всё, да и дороги в контору не

выпадало. А пригласил бы, отловил десятка полтора хвостов Валентин Фёдорыч, заядлый рыбак, у Ивана бы не убыло, зато сейчас получил бы поддержку. Ах, как промахнулся! Знал бы, где упасть... Без прицела у Ивана в руках будущее, без прицела, хотя Ульяну попрекал в близорукости. Наобум расчёт. Хотя грамотный, неглупый, должен понимать все эти тонкости. Он и понимает, умеет ладить с мужиками, вон какое хозяйство поставил, и всё расчёт то гусями, то карповой рыбалкой. И Валентина Фёдоровича готов пригласить на клёв. Он в эти дни хорош, дни погожие, солнечные, карп так и ходит, так и собирает гнус, упавший на воду, донной живностью, бентосом кормится и на червя берёт охотно. Но как теперь приглашать главу, после такого разговора? Унижение, на коленях приполз, подумает. На будущее он возьмёт в голову эту осечку, но только не сейчас её исправлять. Будет своими силами и связями пособляться. Жаль, времени в обрез.

Злой на главу района, на обстоятельства, на себя не злился, поскольку без уважения к своей персоне вовсе дело табак, умом тронешься, самоваром закипишь, а от такого кипения хорошо остужает только водка, но горькая в фермерских делах быстро подведёт к краю. Она хороша была в пору дефицита — все дела измерялись «Московской»; теперь уходит белоголовая со сцены, мужики чаще стали чистоганом брать за услуги, а товар сами выберут.

В сердцах, спускаясь с мраморного крыльца властной конторы, Иван так называл все учреждения, оступился, больно подвернул ногу, чертыхнулся, заприпрыгивал, растирая мениск. За ним захлопали конторские двери, повалил народ бюджетный на обед, неторопливо, вразвалку, отпуская колкие реплики в адрес полыхнувшего бойкого ветерка, сбивающего с тополей листву; ворохнул ею по тротуару, погнал рыжую позёмку, запестрило в глазах, ещё больше разжигая в душе Ивана досаду на обстоятельства. Ему бы тоже домой заскочить, самому пообедать и увезти сыну еду, но знал, что Ульяна в этот час дома, и сразу же поймёт причину его отвратного настроения по глазам, по поведению, и может упрекнуть ещё раз в его упрямстве и невезучести. Она, правда, последнее время стала щадить его. Так ведь и заклевать человека можно, понимает, что её упреки — очередная соль на рану. Но Ивану не менее больно её молчание: мол, не слушал меня, мало хлебал в кооперативе перекисших щей, советовала бросить всё после его закрытия, не взваливать на себя ношу частного-производителя, это тебе не купи-продай, вон они, торгаши, как на дрожжах распыхались, на иномарки все пересели, а ты всё на своём задрипанном «москвичишке». Зато хозяин, глаза бы на тебя не смотрели! Не годы мои — собралась бы да ушла от тебя. Одно держит: тебя, невезучего, жалко. Кто тебя кормить, обстирывать будет? Сам за собой ходить не сможешь, а другой женщине я не позволю! Примерно такой монолог доносится до Ивана. Он усмехается, бодрит

себя последней фразой: нет, не безразличен я жене, и сыновья её не поймут, особенно Сашок. Потому пустой звон от того монолога, боталный, чтобы всё-таки обозначить себя, свою точку зрения. Она давно ему известна. Да что толку в том? Как говорит глава района, раньше надо было мозгами шевелить, а теперь локти кусать нет смысла. Телегу свою везти в любом случае надо до победного перевала. Войдя в реку, раздеваться поздно.

Покрутился по селу, заглянул в лесхоз на пиломатериал — самому убедиться, что нет там свободного пиломатериала, — и поехал за Сашей на обед, зная, что жена уже в школе. Вернувшись на ферму после обеда, он долго и зло разбирал пожарище, а когда притомился — присел на отсортированные брусья, которые можно пустить в дело. Их оказалось немного. Саша упорно не шёл отдыхать, извлекая из-под опилка головешки. Иван видел досаду сына, горечь своей вины, как и сам относил её Иван на свой счёт за случившееся, в пору отстегать бы хребтину хлыстом в кровь, только делу не поможешь, как не разорвёшь голосом покой и тишину в этом прекрасном месте, где зуммер комара слышно на подлёте за метр, где с севера пойма реки оторочена густыми зарослями тальника и черёмухи, с юга — вплотную подступившая берёзовая роща, а с запада, на суглинках и сланцах, закрытых полуметровой кошмой мха, — сосны вперемежку с кедром. Окликнул:

— Иди передохни, остуди спину, ишь взмокла, да послушай мою придумку.

Сын, рослый, сильный, неторопливо подошёл, тяжело опустился на плаху, сказал:

— Что ты можешь придумать без денег, без стройматериала, без рабсилы? А мне, сам знаешь, через неделю в институт на занятия. Только на отлов рыбы в выходные приеду.

— Знаю, Сашок, знаю. Денег, верно, маловато, но ведь урожай убираем и торгуем, наберём. Пиломатериал тоже через две недели глава обещал. Правда, мир не без добрых людей, взаимы мне даёт мой старый товарищ доску-полсотку для стропил. Но мало, только бассейн закроем, а на гараж, если что, придётся теплицу разобрать. Всё равно её решили оттуда убрать. Сошьём прожилыны, шифер выдержат.

— Кто делать будет? Бичей наймёшь?

— От бичей только щёлк получишь, — и, сделав паузу, твёрдо, уверенно, как при тузах в карточной игре, сказал: — Я помочь решил собрать, когда весь материал на крышу добуду. Братья, дядья, племянники, думаю, не откажут. Помню, раньше всегда к такому методу прибегали, по старому русскому обычаю. За два дня управимся.

Они смотрели на прибрежные ивы, тронутые осенними резкими красками, на притихший вечерний пруд, по которому скользили уже слабо греющие лучи низкого солнца и серебрились в мелкой ряби от налетевшего западного ветерка; насыщенный влагой воздух был

плотен и богат кислородом, отчего дышалось легко, быстро уходила усталость. Но Иван к усталости как-то меньше всего прислушивался, некогда, разве что допекали болью натруженные ноги. Иной раз так тянет их, что Иван принимает розовую таблетку, и она умиряет боль, но часто глотать эту химию нельзя. Кишечник и почки она садит, не ладит с ними Иван, как нарушит диету — туши свет, беда. И выпить иногда хочется, особенно после тяжёлого дня, и баньки с веничком да бассейном, где вода не так тепла, как в пруду под солнцем. Большой бассейн летом сух, ни к чему там быть воде, закиснет без смены, только в малом вода, где производители зимуют. А выпить тоже лишний раз побаивается. Щемить стало сердце. Раньше, бывало, три захода делал Иван в парную да так отхлёстывал себя, что синяки на спине от веника рисовались узорами, в шапке, в рукавицах парился. А теперь только разок, и парка минут на десять. Жена по этому поводу злословит: это тебя карпы довели, им ты часть своего воловьего здоровья отдал. Ей-то, жене, хорошо известно его здоровье — мужицкое, богатырское, с нерастраченной постельной силой.

Иван вынужден соглашаться. Какие у него раньше заботы были, кроме как казённой бумажной работы да коровы с курами на руках? Ну, осенняя молотьба хлебов иной год. Иван не допускал жену до коровы, ей и так по дому хватает дел, обеды, ужины всегда свежие, стирка, уборка квартиры — её. Весь дом на ней, ещё и огород приусадебный, овощ, традиционный для сибирских сёл, возвращает. Его, сыновей кормит. Старший, правда, отпочковался, на Дальний Восток потянуло, где служил, где женился. Сашок тоже нынче уходит из-под опеки. Она, конечно, будет, не раз за харчами из города приедет, не раз в стирку постельное бельишко и одежду матери подбросит. Кто ж против? За родное око свой глаз отдашь.

— Что-то, папанька, у тебя из-под кепки ковыли засверкали, — пригляделся сын. — Неужто так пожар на тебе свою лапу пропечатал?

— Всё может быть, Сашок. Дума, она что торба рыбацкая пустая: не возьмёшь из неё хвост, ухи не сварить. Одна тягота.

— Откажись от пашни, не осилишь ты один такой объём, без доброго помощника.

— Я уж тоже думал об этом, да жалко, трактор вот гусеничный справили, комбайн, сеялку, плуг, культиватор. Вся основа для хлеба есть. Земли, правда, кот наплакал. На наших-то просторах такие наделы нарезать! Стыдоба. Вот этим скупердяйством и загубят новое дело. Не пойдёт оно. Я всё же ещё попробую, найду надёжного мужика. Из Казахстана народ русский хлынул.

— Оттуда хлынул, а немцы тоже в Германию хлынули. Вакансий в хозяйствах знаешь сколько? Полно! Не пойдёт к тебе беженец сопли на кулак мотать: он, по старой привычке, на всём готовом привык работать. А у нас? Тебе инженер знакомый пять лет пророчил, а я — десять, пока ново-старое дело корнями не обростёт. Это трава

в лето встаёт, а дерево долго. Вон те сосенки, что у кромки пруда примостились, на метр только-только поднялись за эти годы.

Сосенки эти никто не сажал, семена сами нашли благодатную почву. Рядком выстроились у кромки. Раньше тут суходол был. Теперь сыро. Хвощ поднялся, мох на косых скатах пруда выстелился; туда бы брусничку занести, вечнозелёный ковёр соткать. Пусть ещё с годик мох прирастёт, пышнее станет, тогда Иван саженцев в бору сосновом наберёт — и сюда.

Золотой корень у него уже на одном сливе живёт. Вольготно ему там, влаги под завязку. Вот одыбается, пасеку заведёт, медоносы посеет там, где гусь раньше ходил. Гуся Иван держать один не стал, хлопотно с ним больно, ощипывать некому. Для себя только десяток держит. На Новый год, на Рождество Христово любит гуся с яблоками жарить. Эх, мечты, язвы их возьми, и было бы так с пасекой, если бы не этот пожар, да Сашок в будущем вернулся бы к хозяйству.

— Ладно, сын, посмотрим. Вот только помочь организую — и тогда духом воспряну. И ты с лёгкой душой учиться будешь.

— Давай попробуем. На какой день хочешь собрать родню?

— Как только шифер завезу, сразу на первую субботу с воскресеньем.

— Я заметил, мама на тебя дуется. Как бы чего крутого не вышло.

— Не бойсь, подуется, как мышь на крупу, и грызть примется. Успокоится.

4.

К первому на поклон Иван пошёл к старшему брату. Гриша жил на центральной усадьбе крупнейшего в районе зернового хозяйства, укрупнённого в брежневские времена. Дом у него панельный, стандартная, в шесть соток, усадьба, но обустроена богато. Всё там для жизни есть. Банька с парком, погреб просторный для засыпки нескольких тонн картошки, для квашеных овощей и грибов, солонины. Амбар-склад, где и постолярничать можно, и хлебушек в ларях; сарай для скота и кур на отшибе, тёплый, брусковый, с сеновалом под небеса. Через пяток лет на пенсию ему, но в силе мужик, здоровьем Бог не обидел. Трёх детей поднял, только никого на своей усадьбе удержать не смог. Дочь замужем на северах. Сыновья на заводах в городе. Частенько летом навдываются за сметанкой да маслицем, только просят мать не ставить банки в багажнике машины на мясо с салом. Мать сначала понять не могла: почему? Гриша тогда и рассказал ей, как один студент просил мать выслать носки шерстяные, но одновременно советовал не класть их на сало. Галя и тут недоумевала, а когда дошло, хохотала до слёз: — Ой, тошно мне, ой, тошно! Как будто я без их прибауток мясо со шпиком не кладу. Никогда пустые не уезжают. Нам с тобой уже столько скота не надо, всё ведь для них стараемся. Ты как был в совхозе лучшим комбайнёром, так и остался таким в этом шельмоватом акционерном обществе. Так же молотишь хлеб до белых мух, а проку?

Как работает в осеннюю пору брат Гриша, Иван знал хорошо. Но погорельцу грешно не помочь, смилостивится директор, отпустит на два дня. Может, и погода выпадет в эти дни ненастная, сырая, тогда совсем не проблема вырвать брата. Только бы сам согласился.

Поздним вечером стал звонить Иван брату. Сноха ответила:

— Не вернулся ещё с поля Гриша. А что передать?

— Слыхала, небось, о беде моей?

— Как же не слышать, в газете даже успели пропечатать.

— Так вот о беде своей хотел поплакаться да на по́мочь позвать.

— Какая по́мочь, Иван? Гриша нынче на рекорд пошёл, дует впереди всех, два дня простоя — это горсть золотого песка в реку выбросить!

— Будет тебе, я Гришу от дела не оторву, в непогожие дни по́мочь соберу.

— Не знаю, не знаю, Иван. По такому делу разве по телефону говорят?

— И то верно. Завтра утречком подскочу. И карпа на жарёху привезу.

— Нечего своим карпом разбрасываться, ты лучше его продай, а на эти деньги хорошую бригаду плотников найми.

— Я бы нанял, да где её возьмёшь? Нормальные мужики все при деле, а от бичей за время уборки картошки по горло сыт. Не просыхают, а на сухую не работают. А ну какой со стропилины свалится с топором?

— Ты же, когда своё дело затевал, у нас совета не спрашивал, вот теперь сам и выкручивайся. У тебя вон сколько всего за здорово живёшь на ферме, а мой Гриша всю жизнь монтулил в совхозе, только задрипанный «москвич» по талону победителя соцсоревнования купить позволили. Остальные горбом нажитые деньги акула Гайдар проглотил и не подавился. Я б ему все кости пересчитала, будь моя воля, все бы зубы повыбивала! Сейчас вовсе зарплаты не дождёшься: уборочную закончат, зерно продадут, сальдо с бульдой прикинут, тогда только раскошелятся. Не советские времена, когда день в день получку выдавали.

— Так, — нахмурился Иван, зная о том, кто в семье брата шапку носит. — Это твоё последнее слово? Погорельцу помочь не хочешь?

Иван знал Галинину зависть в отношении своего хозяйства и приобретённой техники по ссуде, за которую ещё рассчитывать ему придётся не один год с восемью процентами годовых. Конечно, льготный процент для фермеров. Но и он немал. Постоянно слухи сотрясают нервишки угрозой увеличения до обычной нормы. Но пока обходится. Иван жилы тянет, чтобы побыстрее загасить взятые деньги. Зарплату себе не берёт, сыну только в накопление на будущую студенческую жизнь. О женитьбе уж не раз разговор заходил: девчонка его, школьница, ждала и дождалась — как тут навстречу не пойдёшь? Обещал глубокой осенью, когда дела улягутся, свадьбу справить. Старшему брату Сашок уже написал. Тот обещал приехать, как только позовут.

Всё путём складывалось до пожара, а теперь — бабка надвое сказала. Галинина зависть добьёт его дело. Этот червячок в душе у человека, как опухоль, съедает живую плоть. Грех большой завидовать, да кто теперь Божеские заповеди блюдёт? Очерствели души под прожектором коммунистического вранья, да и теперь не лучше. Люди видят, как крысы растаскивают по частным норам богатство страны, и каждый желал бы себе ухватить что сможет. Только не каждому дано, вот Галя и думает: Иван там миллионами ворочает, меда сладкие пьёт, в белых перчатках по хозяйству хаживает, указания даёт, и всё по щучьему велению, по его хотению творится... Нет, сношенька, денно и ночью на ферме пропадают; если бы на обеды да на ужины домой не ездил, так и жену бы стал забывать. Ему проще за четыре километра на машине сбегать, молоко, надоенное от коровы, попутно свезти для сепарирования, чем самому тут обеды готовить. Сколько времени убьёшь, а потом — продукты хранить холодильник нужен, электропечь, кухню удобную со сливом в септик. Будет это всё — и платную рыбалку организует, и сауну построит, и бар с прислужой. Но дайте срок на ноги встать, правильно тот инженер говорил: лет через пять, а теперь и подольше.

— Не я не хочу, молотьба не пустит, — прервала невесёлые Ивановы мысли Галя. — Гриша сам тебе то же самое скажет.

— И всё же я приеду.

— Приезжай, коли время не дорого, — чертыхнулась в трубку Галина, и Иван попрощался с ней.

Как только муж переступил порог, Галина выложила ему разговор с Иваном не в трёх словах, а, как артист Евдокимов про то весло после бани, с картинками и гиперболами:

— Не хватало ещё, чтоб ты на братца в горячую пору спину гнул, капитал ему создавал. Он нахватал всего — и земли, и техники. Как сумел это нахапать, пусть так же сумеет теперь всё сохранить. Ты всю жизнь хлебоборишь, а того не имеешь, что у Ивана нынче на ферме стоит, хотя он раньше пахотной борозды не знал. Где справедливость?

Галина — ладная, моложавая, крашенная под воронье крыло, не смотри, что через пяток лет на пенсию, ни труд, ни жизненные заботы не смогли обезобразить её стройную фигуру: глянешь сбоку аль сзади — эх, бабёнка аппетитная, только руками прихлопнешь! Однако в такие годы редко заглядываешься на фигуры, не в тех измерениях желания и помыслы. Много воды утекло.

Галина бойко накрывала на стол мужу, высыпая новость о брате и свои соображения.

— Как же не знал пахоты? Сам себе харчи добывал. По городам в магазины не ездил, на своём подворье всё получал...

— Что он за ударник такой, что ему сам секретарь деляну возле реки отрезал?

— Отрезать теперь не проблема. Как с ней пособиться, с землёй? Вот вопрос!

— Вот и я о том же! Откуда у него такое добро взялось? Бог шельму метит, вот и наслал на него красного петуха. И поделом. Откажи ему в по́мочи, у самого дел невпроворот.

Григорий махнул на жену рукой: мол, с тобой спорить — пуд соли съесть. Умылся под краном на кухне, поужинал — и на боковую. Ночь на дворе в разгаре, а вставать до солнышка, со скотом управляться, будь он неладен. Однако и у Галины правда своя есть, не считается с ней трудно, засыпая, думал Григорий.

В седьмом часу утра Иван был у брата. Тот управлялся в стайке, откуда несло коровьей сыростью. У него две коровы, телята и парочка хряков на откорме. Жареным ячменём так и пахло от кормушек, где, довольно хрюкая, уплетали дроблёнку свиньи, набирая на такой кормёжке сало в ладонь. Братья, очень похожие друг на друга, только Гриша пониже ростом, поплотнее, коренастее, поздоровались за руку, пожелали доброго здоровья.

— Спросишь, почему коров в стайке держу и летние глызы за ними чищу? — сказал Григорий, опираясь на совковую лопату. — Отвечу: боюсь оставить под навесом. Уведут бандиты. У Стегуна быка с коровой умыкнули. Головы в берёзовом колке нашли.

— У нас в селе такая же опаска. Никакие собаки грабёж не сдерживают. Усыпляют псов стрелой и разбойничают.

Помолчали с полминуты, переваривая сухость встречи. Григорий ворохнул лопатой от нетерпения и неловкости предстоящего разговора.

— Я к тебе, брат, за помощью. Галя, поди, тебе рассказала о моём звонке?

— Рассказала, — Григорий тяжело заелозил лопатой, подгребая назём, остановился, выпрямился. — Не знаю, что и ответить тебе. Уж больно неподходящее время выпадает. Жатва. В эти дни каждый мужик четыре часа в сутки спит, и то вполглаза. Как вырвешься из цепей? Разве что в дождь. Так у самого дел непечатый край. Зима извинять за недодел не станет. На зарплату, как и прежде, не проживёшь, на подворье волохать вторую смену приходится.

— Но у меня особый случай, Гриша, погорелец. Разве я не понимаю осеннюю горячую пору? Раннего ледостава на прудах боюсь, не успею взять рыбу и малька. Считай, весь год коту под хвост и на следующий год без задела. Разорение.

— Да-а, затеял ты, Иван, неподъёмное дело. Ребячество, если серьёзно посмотреть.

— Обидно говоришь, Гриша. Нагуливал же я карпа в полкило за два лета. И малька заводы с руками отрывают.

— Вот заводских бы и кликнул на по́мочь. Прибегут, только самогону нагони.

— Я как-то о заводских не подумал. На свою родню надеюсь. У наших из рук ни топор, ни молоток не вывалится. У заводчан какая сноровка? С них по плотницкой части — как с козла молока.

— Слышишь, Галя вёдрами бренчит, на дойку идёт. Пошли отсюда, я своё дело закончил. За чаем поговорим, хотя я тебе определённого ничего пообещать не могу. Даже деньгами особо поддержать не смогу. Зарплату задерживают, а хряков бить рано.

Они пошли в дом, сутулясь, скинув в веранде обувь, пропуская торопящуюся на дойку Галю с подойниками и неполным ведром дроблёнки для коров.

— Доброго утра, Галя, — приветствовал сноху Иван.

— Доброе, — хмуро ответила та, — только оно ничем не отличается от твоего пожара.

— Что так? — удивился Иван.

— А то, что нечего Гришу сватать на помочь. Прошли те времена общественные, теперь всяк о своём печься должен. И я ему своё мнение высказала.

Галя, в калошах, в трико, в лёгкой куртке, в синей косынке, укрывающей пышную причёску, говорила на ходу, последние слова уже долетали до Ивана от дверей стайки. Иван вопросительно глянул на брата, тот развёл руками:

— Говорит, если поедешь на ту помочь, так там и оставайся, а я сама справлюсь с хозяйством. У меня тут в заначке деньжата кой-какие есть, возьми, пригодятся, — протянул Григорий брату небольшую скрутку купюр. — Как считаешь: нужен в доме скандал?

Иван деньги взял, но вспыхнул нутром, загорелось всё от таких слов брата. В голову ударило и в груди защемило. Неладное что-то промеж ними происходит. Хоть и редко они встречались, но всегда душевно. В год по разу друг к другу навевывались, выпивали, делились новостями. О детях всё больше говорили, о нуждах. В новое время ещё реже стали видеться. Дел прибавилось и забот, не до встреч и выпивок. Хмурость какая-то навалилась холодная, как апрельская бездарница. Больше попуткой заглядывали на часок. Может быть, от возраста, от настроения гнилого. Светится в каждом оно, как трухлявый берёзовый пенёк в темень. Каждый вроде право выбора получил, как жить. Только выбирать не из чего. Как в той ложке обеденной нет смысла: золотая она, серебряная или просто из нержавейки — плохой суп от этого наваристее и вкуснее не покажется. А вот если бы суп из десятка супов пришлось выбирать — и простой деревянной ложкой бы отыскал по вкусу.

Гришу осуждать язык не поворачивается. Он нынче, как и каждый год, на рекорд по намолоту пошёл. Урожай хороший, комбайн надёжный, рекорд для него дороже всего. Каждый год страдой живёт, этими бессонными неделями. Это его жизнь, его лебединая песнь, как заветная мечта писателя написать книгу, которая прославит. Гришу

рекорды уже прославляли: грудь в орденах. И нынешний, возможно, тот, который поставит точку в его многолетнем марафоне; и хотя орденов теперь не дают, на ВДНХ не отправляют, но грамотами завалят, венок из колосьев на шею повесят, премию вручат и будут говорить о победителе весь год. Разве от этого можно отказаться, от своей жизни?

От брата Иван уехал несолоно хлебавши, удручённый, молчаливый, только ртом зевает, как карп, в ведро брошенный. Елозит задницей на сиденье, словно на железяку уселся. Разведёт руками, вздохнёт — и опять в баранку вцепится. Ничего смертельного не случилось, а на душе пакостно, словно к кому-то в карман залез прилюдно...

5.

Из ближайших родственников он да Семён ударились в частники. Иван производством занялся, коренным делом, взялся за начало начал, на котором вся жизнь строится, все блага пестуются, как от Бога милость. Семён в торгаши подался. Моложе всех он, а быстро сообразил, где можно бобра убить, шофёр классный, на каких только машинах в потребсоюзе не ездил, любил в командировки дальние ходить за товаром. Чаще за водкой. Сколотил капиталец, приторговывая сорокаградусной из-под полы с наценкой, а шампанским перед праздниками. Скупал помаленьку горькую, копил, а потом выбрасывал. Раньше бы спекулянтom обозвали да прищучили, а теперь это предпринимательством называется. Магазин построил собственными руками, открывать собрался. На него надеяться шибко Иван не мог, но всё-таки переговорил по телефону, расспросил, как дела, какие планы, не намекая о своём намерении. Семён словоохотлив, рассказал всё как есть. Жену за прилавок ставит, а сам будет мотаться по наезженной колее за товаром по базам.

— Приезжай, брат, на обмывку магазина с женой. Посидим, пива попьём, коньячка, чёрной икрой закусим.

— Не могу, Сеня. Неужто не слыхал о моём проколе?

— Как-то не дошёл слух до нашей Повелихи. А что такое?

— Погорел я, крышу над бассейном вновь ставить надо, а время поджидает. Тебя хотел на помочь позвать, всю родню собираюсь поднять, поклоняться в ноги. Иначе я — банкрот.

Семён долго молчал, сопел в трубку, потом ответил:

— Тут с кондачка решать нельзя, надо обмозговать. Я же, считай, дома только на ночь к жинке в постель, а день весь в разъездах, воскресенье в ремонте, на старье пока езжу. На новье ещё кишка тонка. Как я смогу выбраться из такого плотного графика? День простоя — убытки на десятки тысяч. Как тебя тут обнадёжить? С Гришей говорил, зятьком Лёшкой?

— У Гриши жатва, он лидер нынче, не хочет терять первенства. Ты знаешь, кто у него в семье шапку носит. Галя вкрутую против. До

Лёшки ещё черёд не дошёл. Не могу дома поймать. Он же по сменам на птицефабрике. Придётся ехать. А время — деньги.

— Вот-вот, Иван, у меня тем более, у торгаша. Материал-то завёз?

— Нет ещё, три дня назад беда случилась. На мели я: за картошку с расчётом тянут, и с зерном такая же песня. Одна надежда: отловлю карпа — да на рынок. Продам, шифер завезу из города.

— Так у тебя ещё не у шубы рукав, а ты о помочи. Сначала соберись, тогда и зови. Глядишь, и сколотишь джаз-банду плотницкую.

— Без разведки безнадёга.

— Тоже верно. Ты пока готовь всё, а там посмотрим, — пообещал Семён, но Иван не услышал в его голосе твёрдости, лишь тягучие, мало обнадеживающие интонации.

Семён младше Ивана на целый десяток лет. Помнится, учился плохо, на тройки, хулиганил. Однажды весенним вечером Семку в дом привёл участковый. Вместе с двумя дружками-семиклассниками Семка пытался проникнуть в класс химии, чтобы добыть магний и устроить фейерверк. Бедокуры вычитали, как можно бесшумно вырезать стекло и через проём проникнуть внутрь. За этим делом-то и застал их участковый. Мальчишки честно признались о своих намерениях, поэтому участковый в отделение милиции никого не отправил, а развёл по домам для принятия мер родителями.

Выслушав рассказ участкового, отец тут же снял поясной ремень, и милиционер уже во дворе услышал, как взвыл от порки Семка. Это была первая и последняя жестокая порка. Иван видел вспухшие полосы на спине у брата и вспоминал тяжёлую руку отца-плотника, когда и к его заднице иногда прилипала эта пятерня, а ягодицы жгуче горели, и как доходчивее после этого оказывалась отцовская наука не лодырничать, не проказничать, не врать. Впитал эту науку и Семка.

На следующий год отец крепко захворал, забеспокоился о недоученных детях, особенно о Семёне, и как только тот закончил восемь классов, отправил неслуха в Повелиху учиться на шофёра в училище. После его окончания, в Повелихе же, Семён устроился работать в потребсоюз, оттуда же ушёл служить в армию, вернулся на своё место. Так там и прикипел, ухарство из него выдавили работа и строгая Катя, в которую он влюбился сразу после армии. Теперь и не поверишь, что был он ленивым и шкодливым школьником. Повелиха недалеко от Предгорного, Семён частенько наведывался в родительский дом, и всегда с подарками.

Отец с матерью радовались за младшенького сына больше, чем за кого-либо. И он им платил той же монетой. И когда отца всё же одолела не проходящая хворь, отвёз его на своём грузовике на погост, убиваясь и страдая больше всех. Он же добыл, привёз мраморный памятник и с Иваном поставил на могилу отца. Кроме фотографии

и дат рождения и смерти, Семён выгравировал все боевые награды старшины-краснофлотца Николая Ефремовича Самохина.

6.

Саша очень любил своего отца. Может быть, даже больше, чем мать. Рост, походка, голос и лицо — всё отцовское. И характер к людям добротой подсвечивает. С псами, что ферму сторожат, часами может забавляться, корову всегда кусочком хлеба угостит. Уток бить, что на прудах в рогозе гнездятся, по осени жалеют оба. И никому не разрешают здесь охотиться, хотя пролётных тоже полно бывает. Даже до скандала с охотниками доходило: «Ну, убьёшь ты утку или подранишь — как доставать будешь? Лодки у нас нет. В пруду же карпы». Однажды две цапли на пруды пожаловали, величавые, огромные, кружат, рыбу высматривают. И брали пару раз. Саша бросился в каптёрку, Иван думал — за ружьём. А он фотоаппарат схватил и давай щёлкать. Потом прогнал цапель. Они, конечно, вернулись, тогда Саша пальнул в воздух из ружья и два чучела поставил. Облетать стали пруды бело-серые красавицы. Всё над рекой барражировали. А однажды чайки с Енисея натакались на пруды. И давай внаглуу нырять за карпами. Этих чучелом не отгонишь, пришлось мелкой дробью поливать нахалок. Ушли.

— А я ведь, папа, перевернулся на машине с картошкой, когда по туману в пожарку поехал. Перевернулся и на колёса встал. Кювет-то какой крутой. Сам не могу понять, как всё мигом случилось, даже мешки не все вывалились из кузова, я их потом собирал.

— Так вот почему ты долго не возвращался! — обожгло Ивана такое признание.

Он помнит, как выглядывал, поджидая сына, вот уже и пожарники воду бросили на огонь, а его всё нет. Заволновался: небось, милиция тормознула, без прав полетел. Ещё не легче. А он едва на тот свет не отправился, едва не покалечился! Ладно — так обошлось, и мешки один подбирал! Главное, цел остался, не ушибся! Долго лезла в голову словесная чехарда.

— Вроде без синяков обошлось, грудь о баранку немного ударил. Я думал, тебе пожарники сказали, что я в кювете стою. Я бы знал, что они промолчали, — и сейчас бы ничего не сказал.

— Почему же тогда пожарники так быстро приехали?

— Проезжающий сообщил, остановился. Спросил, жив ли. Я попросил быстрее сообщить о пожаре. Он тут же уехал.

Вон как обернулось. Какое счастье! В несчастье. Перевернулся и не зашибся. А могло всякое быть. Иван только скулами желваки выдавливает от отчаяния.

Об этом Саша сказал, когда основную картошку на третий день на базу сдали да горельник растащили. Опять ухайдокались, едва ноги Иван носил. Уже темень легла, домой на ужин не поехали, распили

бутылку водки, закусили и о пѳмочи толковали. Но уже без отчаяния. Убыток, конечно, нанесѳн, поправят, если быстро крышу над бассейном и гаражом поставят. Не абы как при кооперативе, толем крытую из-за дефицита шифера. А теперь под шифер. Появился он в свободной торговле. Магазин при заводе открыли, бери, только плати наличкой. Если она в кармане есть. Сумели же вот как-то город и сѳла насытить шифером?

Ивану невдомѳк, что одна за другой закрывались государственные стройки. Он в те годы у телевизора не сидел, газеты тоже почти не читал, так, схватит глазом какую информацию, как та коза-дереза клок сена на бегу, тем и доволен. Даже про расстрел российского Верховного Совета на вторые сутки узнал. Вот изумлялся, вот крутил буйной головой! Вот так проснѳшься утром, а в стране натовцы орудуют. Армию-то подкастрировали, разоружили до предела. Видел сам, как по трассе ранними утрами многотонные сигары на тягачах куда-то с ракетных точек увозили. Первый раз как увидел — шары вылупил и понять ничего не может. Онемел: с десятков ракет везли! Стратегическое разоружение. С одной стороны, сколько можно жить под угрозой ядерной войны, грозя каждый из своего окопа ядерной булавой? С другой стороны, как бы не опрофаниться, как с пактом о ненападении с германцем. Через несколько дней после необычного зрелища вереницы ракет, вечером, над тайгой такой оглушительный взрыв прогремел, и гриб от взрыва расцвѳл. Иван упал на землю, лежит ни жив ни мѳртв. Атомный взрыв никак? Помнит, на учениях в армии их батарея напоролась на атомный взрыв. Имитировали, конечно, такой надтреснутый, лопающийся звук, как от близкого раската грома. И тут такой же. Батарею, понятно, «смахнуло» с лица земли. Двойку за учение батарею поставили: не успели в срок окопаться. Хотя позицию для отражения танковой атаки комбат выбрал отличную.

Вспомнил Иван былое, хоть и успокоился, а всё же, когда на следующий день домой приехал, позвонил в администрацию, поинтересовался в ГО, что за взрыв был. Холодно объяснили: шахты ракетные уничтожают по договору с американцами. Неужели и американцы рвут?

Вон оно что! Потому, может, и цемент в продаже свободно появился? Воякам он теперь без надобности, бетонировать новые шахты долго не будут, коль готовые рвут. В кооперативе ещё, когда ладились бассейн строить и весь рыбный цех, цемент доставали контрабандой. Ворованный. Две цементные бочки из города за наличку шоферѳ припѳрли. И ещё предлагали. Но если официально, перечислением, — сколько порогов обить надо. И принялся поначалу Иван их обивать, но плюнул. Гоша, рабочий, по старой дружбе договорился с цементовозчиками. Спасибо ему. Правда, деньги эти в карман мужикам пошли, а не заводу, — и поделом, коль бюрократическая броня, выстроенная властью, непробиваема, о чѳм Горбачѳв, Иван это хорошо помнит, постоянно в своих речах долдонил, а воз с кобылой всё там же.

Приехала жена на велосипеде, привезла ужин, Ивану скандал устроила:

— Ты если себя не жалеешь, так хоть сына пожалей. На такой работе да на сухомятке испортит желудок. Не могла эта проклятая ферма дотла сгореть? Не ишачили бы тут от зари до зари.

Непросто Ивану сносить безразличие к его делу жены, её неподдержку. Но как-то смирился. Недопонимает женщина значение фермерства, что с неё возьмёшь? А вот за злобу, выброшенную ему в лицо, обидно. Как-никак хозяин он. Тут и Галю вспомнишь, её зависть помянуть добрым укором, жене в противовес. Только стоит ли? Всё равно не поймёт. Уж лучше отмолчаться, повиниться за сына. Неделю осталось тут ему горбатиться, а дальше учёба в институте. Один останется.

— То-то и оно, что один! Из кожи лезешь. Надолго ли так тебя хватит? Я тебе не чужой человек, у меня тоже за тебя сердце болит.

— Ну вот и спасибо, родная. А Сашу я домой отправлял. Отказался. Говорит, Люси в деревни нет, а в каптёрке хоть дольше посплю.

— Чего выдумывать-то? — не соглашалась мать. — Далеко ли тут ехать — пять минут. Зато в чистенькой постельке, после горяченького ужина, и утром тоже не кружку молока с хлебом, а гуляш свеженький.

— Спасибо, мама, ты же знаешь, я от молока никогда не отказывался, самая мировая еда с булкой.

— Когда пацаном бегал и в школе учился, молочко вместо воды пили и сыты бывали с братом. Но приходят выходные — как я вас стряпнёй ублажала: мантами, пермячами, блинами фаршированными, пельменями! Сядете за стол, три мужика, я только сковородки из духовки вынимать успеваю. Забыл? Сейчас у тебя не школа, за двоих мантулишь — и есть за двоих должен. Мясо для кого в холодильнике лежит?

— Вот ты же привезла, сейчас съедим, — смеясь, сказал Саша, подхватывая кастрюлю, завёрнутую в шаль, чтоб не выстыло блюдо.

— А час-то, час который? Десять скоро!

— Мы, мать, выпить захотели да потолковать спокойно, обмозговать дела предстоящие. На обед же приезжали, наелись до отвала.

Жена ворохнула постели — несвежие, приказала привезти простыни, наволочки, пододеяльники и взять смену, на что Иван безоговорочно согласился. Она блюла чистоту в доме, порядок, чтобы всё при месте лежало-стояло. Она любила и Сашу, и Ивана, и старшего сына, живущего на далёком востоке. Не сказать чтобы одинаково. Одинаковой любви не бывает. Кого-то больше, кого-то меньше, особенно теперь Ивана, упрямого и настырного, но она знала: больше каждого она любила свою семью, такую, какая у неё есть. Славная, надёжная, не хуже многих, а то и получше. И любовь эту на дольки не поделишь, как коврижку, она как сердце неделимое, но в котором для каждого есть местечко тёплое, где согреться можно от любых невзгод. Вот и теперь сердечная забота и тепло пахнули на мужа с сыном из

кастрюльки аппетитными котлетами и укором за чёрствость к ней, через которую и у неё на душе постно и тоскливо. А надо ли огорчать, когда и без этой пилюли можно обойтись? И сама же себе в ответ: да нельзя, наверное.

— Ноги-то хоть моете перед сном?

— А как же — пруд рядом! Тапочки под рукой. К счастью, видишь, каптёрка наша почти не пострадала от огня. Поливали её, огонь отбивали, не пускали. Слесарке больше досталось. Но и она жива.

— Ладно, я поехала, перед сном прогулка — тоже хорошо, — мило-стиво подвела итог разговора Ульяна и уехала, неторопливо крутя педали велосипеда.

Бабье лето, с солнечными деньками — впору загорать на припёке, с редким журавлиным клином над жнивьём, горластой тьмой галок в прилесках и луговинах, с золотистыми звёздами в тёмной бездне, с обильным листопадом и утренними вёдренными туманами, заканчивалось. Иван с сыном подбирали хвосты с уборкой картошки. Пора и задвижки открывать в прудах, чтобы вода скатилась в реку, и рыбу взять. Две недели будет течь. Ночами следить придётся, как пойдёт вода, не забывает ли рыбоуловители, не уходят ли драгоценные золотистые зеркальные карпы. Не поспишь, не отдохнёшь. Днём такая же петрушка. Бассейн хоть и без крыши, а готовить к приёму рыбы надо, не откладывая. Уже студит сентябрь ночами, торопит. Как тут вдвоём управиться? Третий, а то и четвёртый человек требуется. Да где надёжных взять? На износ дело идёт.

Осунулись в заботах сын с отцом. Но терпят, немного дней такого напряга осталось. После помочи схлынет накал. Отлов только останется. Но после разговора с Семёном покачнулась вера в помочь. Мысль родилась вроде верная, а ускользает из рук, как конический шкворень, измазанный солидолом. Чем крепче сжимаешь, тем неудержимее он выползает. Так и жизнь сочится сквозь пальцы сжатых кулаков. Годы нового своего качества пролетели, как один перелёт журавлиной стаи, поскольку всё в один прочный комок слепилось — и зимнее, и летнее время. Вроде и не жил в эти годы, потерял их. Прилетит домой с фермы, за десять минут пообедает — и снова по оргделам, отчётным, банковским или на ферму. Как любил раньше жену в чистой постельке поласкать, неторопливо, с чувством! А теперь скороходом всё, кавалерийским наскоком. Жена по этому поводу только усмехается да губки поджимает. Иван видит её иронию, принимает молча, а иногда и скажет: «Не в том теперь счастье». — «А в чём? В хомуте твоём новом, несъёмном, круглосуточном?» — «Погоди, вот на ноги встану — на югах отдыхать будем». — «Юг ты, скорее всего, на погосте досрочно обретёшь».

Жена у Ивана в последние годы стала завучем школы. Умна, мозги у неё по-иному вправлены, ещё с хрущёвской речистости, когда он обещался коммунизм через четверть века построить и говорил:

человек будет с полной самоотдачей трудиться на своём рабочем месте, а вышел за ворота — у него полная свобода для отдыха и творчества. Всё у него будет: и материальная обеспеченность, и питание, и свободное время,— твори, повышай свой культурный уровень. Иван тоже помнит такие языковые заносы главы государства, но не верил, а она поверила. Всё с тем заносом так и живёт, а надо бы уже встать на реалии. Может, встала бы, если бы за скотом сама ходила, как большинство баб в селе. У Ивана, как он уже сообщал, вся живность на руках у него, вплоть до дойки коровы. Как городская цаца у него жена ходит, другим на зависть. Об этом редком факте всё село знает из уст Ульяны. Она такую заботу мужа не иначе как любовь понимает, и он не отрицает. Усмехнётся и скажет: «Ты знаешь, Ульяша, я пустые слова не говорю, я делом доказываю. Вон и Санька мне сыновье спасибо за воспитание руками говорит».

Сын нынешним летом хорошо ему помогал. Иван радовался Санькиной хватке, свою лямку в пристяжке, конечно, тянул хорошо. И всё же на обедах он ворчал на сына, что подолгу рассиживается за столом, пережёвывает супы и пельмени, чай распивает. Вот так же неторопливо и работает, куда пошлёт — шагу не прибавит, бегом не побежит, а размеренно всё, так сказать, с чувством, с толком, с расстановкой. Медленно, но зато качественно.

И уж совсем забыл Иван о своей молодости, как парубком за девушками ухлёстывал, как встречал с какой-нибудь подружкой утренние зорьки вовсе не на своей кровати, а где-нибудь в укромном месте парка или на берегу речки, куда незаметно уносили ноги, пока с Ульяной не встретился и не окрутила она его, не окольцевала на светлое счастье. Не столь красотой пленила она, сколько внутренним обаянием и теплом души. Красота девичья — частенько обман, а тут никакой рисовки, никакой фальши, как сама натуральная природа с флорой и фауной. И удивлялся Иван: куда расходуется бензин в его легковушке? Саша отвезёт его после ужина на ферму ночевать-сторожить, а сам возвращается домой спать. Утром глянет на приборы — стрелка почти на нуле. Значит, полкает по селу. Как-то Иван совсем забыл, что у сына тут девчонка, дождавшаяся его с армии, и, конечно, пропадает он ночами с ней на его машине, а когда очередь дежурить Саше, то бензина ещё больше уходит.

— Совсем мозги высушила твоя ферма,— сердилась Ульяна на его удивление по поводу расхода бензина.— Будет он тебе сидеть на той ферме сычом. Он с Люсей вечерок и ночь там прихватывает, а потом её домой везёт, а сам — назад.

— А-а! — с прозрением восклицает Иван.— Вот ведь как очерствел. После уборки женитьбу закатым. Саша уж ко мне подкатывался по этому поводу. Я разве против? Но жить где будете, спрашиваю.

«Люся будет учиться на бухгалтера. Ты же мою зарплату в чулок складываешь, вот на неё снимем комнату. А летом снова к тебе на

заработки».— «Всё рассчитал за моей спиной. Небось, с матерью плановали?» — «Не обошлось её совет выслушать, тебе же недосуг, у тебя в голове ферма. Не обижайся, я тебя понимаю, сам болею душой за дела». — «Ладно, коли так-то, — удовлетворённо качал головой Иван. — Развернусь, в будущем тебе здесь хозяйствовать, если захочешь». — «Посмотрим, папа, куда политика повернёт. Если, как сейчас, только на олигархов курс, на выкачку природных ресурсов, я на каторге добровольно жить не собираюсь».

Сказал как отрубил. Отрубил руки, а голову оставил. Без рук и голова ни к чему. Разве что баллады складывать да песни петь. Так на то ни таланта, ни голоса нет. Без жестов какой рассказ, какая песня обходится?.. Безнадёга. Хотя Иван тоже не без царя в голове. Ульяне на первых порах о любви стишки пописывал, а что до чтения книг, так оба горазды.

7.

Сестре с Лёшкой звонить не стал. Завтра в город пойдёт с картошкой, по договорённости последний воз в три магазина сдаст и денежку сразу же получит. Это очень хорошо, наличка очень кстати сейчас — хотя когда она мешала? — и к Валентине заедет попуткой. Чуть в стороне от трассы стоит птицефабрика, время экономят. На них шибко надеялся Иван. Лёшка дюже мастеровой, у него любое дело горит. Вот кому своё хозяйство заводить, да не хочет себя привязывать к нему. Тут он почти как в городе, по сменам работает, и отпуска строго по графику. Зарплата всегда вовремя. В ходу яйцо да бройлер, с ногами и руками городские магазины отрывают. Голодный город, что ж тут не понять. У работяг-птицеводов холодильники яйцом и бройлерами забиты. Ешь — не хочу! Нынче у сестры и у Лёшки отпуск на осень падает. Отрегулировано там так, чтобы семья враз шла отдыхать. Путёвки профсоюз, ещё не рассыпавшийся, подбрасывает за полцены. Вот этих путёвок-то и боялся Иван. Как угадают на это времечко? — У тебя, Ваня, беда, а у нас радость, — первым делом сообщила Валентина, как только он разыскал сестру в бухгалтерии и они вышли на крыльцо поговорить от постороннего уха. — Путёвки нам с Лёшкой дали в Сочи, на бархатный сезон попадаем! В какие-то веки такое случается. Правда, горящие.

У сестры, понятно, радость, а Ивану тошно. У сестры тоже хозяйство, как у каждого сельчанина. Но ей печалиться о нём в отпуске не придётся. Свекровь рядом деловитая живёт. Дочь у свекрови тут же замужняя, присмотрят, управятся. Тем более что сейчас одна живёт, муж в армии дослуживает последние месяцы. Сразу же после школы свадьбу сыграли: в положении была уже девчонка. Нынешняя молодёжь на это горазда. Любовь все вольности списывает, материнские запреты ей нипочём.

— Когда едете? — с содроганием спросил Иван.

— Я ж говорю, горящие. Всего три дня на раскачку. Лёша за билетами на самолёт укатил. Полную сумку деликатесов прихватил для подмазки.

Иван о помочи и заикаться не стал. Сгорает помочь синим пламенем!

— Ты-то как, Ванюша, со своими рыбами управляешься? Слышали, погорел ты сильно.

— Погорел, да не весь. Крыша только сгорела. Поставлю до белых мух.

— Вот и ладно. Не путёвки — Лёша бы тебе помог, знаешь его хватку.

— Знаю, Валюша, на него и уповал. Да, видать, недосуг.

— На нём свет клином не сошёлся, Гришу призови, Семёна. Дядю Стёпу с сыновьями.

— Позову, Валюша, позову, если тоже на курорт не отвалят.

— Не нравится мне твой тон, Ваня. Никак обиделся?

— Нет-нет, что ты, у каждого своё. Кто ж от своего счастья откажется? Всё правильно.

Ивану невольно дальше вести разговор. Зубы так и щёлкают от отчаяния. Крылечко конторы, где они стояли, будто покачнулось под ногами, да, слава Богу, Иван опирался на перила, глядя как бы снизу на красивую, чернобровую сестрёнку, которую нянчил в детстве, оборонял от обид, встречал нередко из школы, носил за неё портфель. А когда выросла, познакомил её с Лёшкой, будущим мужем. В армейке вместе служили, в одной батарее. Только из разных деревень призывались. Понятное дело, Лёшка заочно знал Валю и заочно, по фотографиям, влюбился, и Валя в него. Свадьбу сыграли на следующий год после дембеля, как только Валя десятилетку окончила, и увез её Лёшка к себе на птицефабрику, в посёлок городского типа. Теперь он лучший бригадир, Валя бухгалтер.

— Поезжайте, Валюша, на море, мечта ведь, счастливо отдохните,— сказал Иван, беря себя в руки.

— А ты-то как? Справишься со своей бедой?

— Ты же сама мне напомнила, сколько у нас родни,— усмехнулся Иван.— Сколочу артель, за выходные поставим крышу.

— Ну и ладно. Подожди меня, я сейчас отпрошусь у главши, тебя индюшатинкой угощу. Нынче первую партию забили. Больше всё по рабочим разошёлся индюк. Ждали.

— Давай, я на машине, тебя назад привезу,— не стал отказываться Иван, чтобы не огорчить сестру, подозревающую нехорошее настроение у брата.

— Всё же ты, Ваня, не просто так к нам заехал? Что-то ты не договариваешь,— спросила она, уже сидя в кабине грузовика.— Скажи честно: какие трудности? Чем можем, поможем.

— Не беспокойся, Валюша, всё образуется. Холода нынче рано не ожидают, управимся.

— Погоду теперь предсказать трудно. Все старинные календари экология сломала. В начале октября заморозки будут. Не юга, Сибирь.

— Точно бы знать, как час нападения вермахта, так и упредить всё можно, особенно мне с рыбой.

Ивана как раз и страшили эти заморозки, когда ночью до минус десяти падает. Продержится несколько ночей такой приморозок, схватятся пруды. Нокаут! Растает, конечно, потом лёд, но сколько нервов порвёшь, глядя на оседающее зеркало. А может, и не растает, так и будет держаться, сползая в улова, откуда он рыбу сачками берёт. Ещё придётся отвлечься на пшеницу. Правда, тут договорённость есть: его двадцать гектаров, опять же за наличку, механизированный отряд первого отделения АО «Октябрьское», что в райцентре, за один вечер сомнёт и на своих же машинах в амбар свезёт. Амбар готов, высокий, под самосвалы ставил и пол забетонировал ещё летом. Потом вывезет на хлебоприёмный пункт, а те пять тонн, что на свою машину сыпанут, сразу на элеватор. Пшеница сухая, выстояла, сбросят на сор вес, и все дела. Он бы таким макарон весь урожай свёз, кабы не это несчастье. Своим бы комбайном убрал. Молотил же уже нынче ячмень на фураж. Теперь выбирать не приходится, хорошо, что так выкручивается.

— Всё же ты скажи мне: на какое число мужиков собирать будешь? У нас путёвка короткая, на две недели. Глядишь, и мы вот они,— догадалась Валя об истинной причине приезда брата.

— Я сам ещё ничего не знаю. Не у шубы рукав у меня. Ни пиломатериала нет, ни шифера, ни гвоздей. Как всё соберу, так и день назначу. Но скорее всего — через воскресенье, на следующие выходные.

Иван уезжал от сестры с тяжёлым сердцем, словно по минному полю гнал машину. Жизнь и есть минное поле. То там рванёт, то здесь в клочья разорвёт его наивность и доверчивость. Со сборщиками картошки нынче вышел казус. Договорился с бригадой из пяти человек, что они будут собирать клубни после копалки. Условие: он их кормит обедом с подачей ста пятидесяти граммов, а вечером за сделанный объём — расчёт. Хорошо. Первый день поработали нормально, второй тоже. На третий день приехал за ними в общежитие, в брошенный сельсоветом полуразграбленный старый многоквартирный дом, — они с крепкого похмелья.

— Похмели, тогда поедем работать, — ультимативным тоном сказал бригадир Кузьма, косматый, обросший рыжей бородой мужик в годах. — Ладно, поехали на поле, там позавтракаете и похмелитесь, — пообещал Иван.

Он торопился в город — по заказу пяти магазинов отвезти свежую капусту на грузовике, которую с утра пораньше успели заготовить и погрузить с сыном. Продавцы брали по двести-триста килограммов, чтобы не залёживалась, не старела, — и на том спасибо, хотя грузовик гонять полупустой тоже накладно, да что поделаешь, таковы условия. Привёз людей на участок, поручил сыну накормить их и похмелить, на что Саша недовольно пробурчал:

—Дождёшься после этого от них работы. Не надо было мне подкапывать картошку, а тебя подождать,— Саша кивнул головой на усыпанные клубнями три рядка.

Урожай был богат и радовал, как солнечное утро перед рыбацким походом. Оно сегодня такое и распустилось, с лёгким туманом по-над речкой, который уже съели яркие лучи, и уже не тянуло оттуда сыростью, как пару часов назад, перед восходом светила; и берёзовая рощица, плясунья, что у малого пруда на взгорок выбежала, ярче рыжеет ещё не опадающей листвой, и соснушки, что у самой воды притулились, омылись росным туманом, отчего изумруд иголок светлее и нежнее, и речка на перекатах речистее. Любил Иван такие утра, бодрящие, как вновь народившийся ходишь, дела свои вершишь, и ноги не гудят, и поясница хорошо гнётся. Горы бы своротил! И к песне душа тянется, а губы сами напевают: белый свет над землёй разлился, встало утро доброе, чистое! Вышла девица к реке по водицу, поплыла над долиною песнь звучистая!

Но тут не до песни, мат так и наворачивается, да при сыне Иван никогда не ругался.

—Кто ж знал, что они вечером напьются на заработанные деньги?

—Не бойся, хозяин, за день всю соберём,— заверил бригадир,— ты только стимул дай.

Иван вытащил из кабины бутылку водки, хлеб, домашний сыр, сваренный Ульяной. «Пальчики оближешь» — называл его Иван за отменный вкус. Поместил всё на разостланные на земле мешки, сказал: —Приступайте, я вам верю, не подведите. Я еду в город, Саша остаётся за старшего,— сказал и уехал.

Вернулся домой в конце дня. Видит, Саша один собирает подкопанную картошку, основная масса которой не тронута.

—Вот паразиты, подвели! — воскликнул Иван, остановил машину, направился к сыну выяснить, что случилось.

—А ты что думаешь? Бутылка пятерых не похмелила, потребовали ещё. Я стал заставлять работать, они встали и ушли.

—Вот паразиты, вот паразиты! Я к ним по-человечески, а они — как скоты. Ночью, наверно, дождь брызнет, намочит картошку. Возись потом с грязной да мокрой. Ну, я им покажу!

Утром Иван с Сашей заехали в тот бичёвник. Все пятеро лежали в отрубе. В комнате дышать нечем: сивушный запах от дыхания пьянчуг плотен, аж глаза ест; пол в грязных наростах, на столе невымытая, заплесневелая посуда, и сама столешница давно не видывала мокрой тряпки и не знала усердных рук; гора сигаретных и папиросных окурков. Иван растолкал Кузьму и молодого парня с его девчонкой, в надежде договориться.

—Что ж вы, черти, меня подвели? Я вам поверил, как людям, а вы, как последние сволочи, водку выпили, сыр съели, работу бросили и ушли!

— Это твой сын виноват. Отобрал у нас флакон одеколона и стал заставлять работать, хотя мы ещё в норму не пришли.

— Врёт, гад. Они сидели целый час, а я работал, ждал, когда они встанут. Дважды звал их, но они принялись за одеколон. Я его отобрал, только флакон был уже пустой.

— Так, выходит, вы даже не отработали то, что выпили и съели? Как будете отработывать? — растягивая слова, Иван наливался негодованием.

— А никак, плевали мы на такой заработок, — нагло сказал Кузьма.

— Ах, вот как! — взорвался Иван. — Ладно, сейчас я с вами рассчитаюсь!

Он выскочил из зловонной комнаты, открыл багажник машины, схватил шланг, которым при случае наливал бензин в паяльную лампу, и, ворвавшись в это грязное, прокуренное, пропитанное мочой, грязной постелью и всякими дурными запахами, от которых у него наворачивался рвотный спазм, помещение, принялся охаживать шлангом лежащего на кровати бригадира. Тот взвыл, но покорно лежал. Потом свою ярость Самохин перенёс на молодую парочку, которая завертелась на топчане ужами под его ударами.

— Вот вам за моё к вам доверие, за съеденную пищу и водку! Пошли, Саша, из этого гадюшника, противно даже бить такую падаль.

Это случилось за три дня до пожара. Как и сказал Иван, ночью пошёл дождь, намочил клубни, к обеду, правда, подсушило, а Иван нашёл других алкашей, которые собрали картошку, а заодно на другой день убрали оставшийся кусок деляны. Мешки сложили в бурты, накрыли плёнкой, рассыпную подмоченную грузили в машину, вот с нею-то и возились фермеры, готовя сдать на базу. Иван, конечно же, ругал себя за то, что поверил алкоголикам, оставив их наедине с Сашей. Как же иначе жить без доверия к людям? Всё же они два дня работали нормально, и на третий должны бы. Как ни говори, есть такая категория людей, которую без притужальника жить нормально и зарабатывать на жизнь не заставишь. Страх быть уничтоженным у таких притупился: ведь и так понятно, что люди постепенно съедают сами себя, и у них на глазах гибнет то один, то другой, вконец спившийся и истощённый. Ожидание боли и сама боль могут вызвать послушание, как это происходило частенько в исправительных лагерях. Собственно, это не его проблема, у него своих полон рот. В сущности, Иван не знал этих людей. Какие-то пришлые, а может быть, и местные, райцентр большой, всех знать он не мог. Но то, что это люди слабые, несчастные, козе понятно, а в роли воспитателя он быть не собирается.

— Папа, это не люди, это алкаши. Они мне сказали, что раньше житуха была лучше. Время от времени Кузьма в ЛТП попадал. Таких, как он, тысячи. Их содержали строго, они работали, их воспитывали, выпускали, некоторые держались по году, по два — и опять новый заход на принудительную лечебку. Теперь власть прикрыла все эти

заведения, алкашей на произвол судьбы выбросила. Если они себе не нужны, то кому такое дерьмо годится?

— Не суди, Саша, строго. Безвольные люди. Ты прав, им узда нужна, моя мягкость и свобода для них погибель. Сгинут, отравятся. Горько, что молодых людей среди них много. Смертники.

8.

Иван жил с дядей Степаном в одном селе, а не встречался с ним с весны. Степан почти ровесник ему, года на два постарше, имеет двух взрослых сыновей: рано женился. Ещё тогда, весной, Степан говорил, что дровяным делом решил заняться. Как зима, так сельсовет караул кричит, нечем пенсионеров отапливать. Вот и решил на дровах зарабатывать. Рынок сбыта огромный, прорва. А у него трактор с тележкой, как известно, самосвал купил, поношенный, но надёжный. Деляну выбьет — и пошёл пилить да возить. Чем не бизнес? Иван тогда согласился: дело верное. Газом в Сибири в новые полстолетия ещё отапливать жильё не расстараятся. Скорее китайцам газовые трубы протянут, но не для сибиряка. Электричеством — дорого. Особенно для стариков, которые на печках сидят, берёзу с сосной палат. Привычнее и надёжнее, когда под пятьдесят завернёт северянин.

Иван принялся наводить справки о Степане через жену, поскольку это её родной дядя, но она толком ничего не знала. Поехал к нему домой ранним утром и застал Степана, собирающегося в рейс. Особняк у него добротный, из бруса, постройки хозяйственные богатые, двор в асфальт закатан, ворота резные. Всё путем, как у Гриши. И Степан крепок, статен, здоровьем от него так и пышет, в лёгкой куртке, и ту расстегнул, чтоб не потеть. Дядя о пожаре знал в деталях, и Ивану не пришлось объясняться. Он коротко изложил просьбу.

— Сам суди, Иван, конкуренты у нас появились. Хлещем с августа, навалили горы чурок, сейчас главное — вывезти, пока погода, пока клиента не перехватили. Два дня простоя дорого обойдутся. А вот денег взаимы дам.

— Дело не в деньгах. Сколотил сумму на материалы. Часть пиломатериала уже завёз. Дело в руках. Где сейчас бригаду шабашников возьмёшь? Все нарасхват. Зима на носу.

— Не сердчай, Иван, не могу. Сыновья не поддержат. Они в лесу безвыездно, просмолились от костров, в баню съездить некогда, устали, — отказал Степан жёстко.

Всё, махнул рукой Иван, больше ни к кому кланяться не пойдёт. Он всю жизнь старался ничего ни у кого не просить, особенно по мелочам. Но тут совсем другое дело, серьёзное, жизненное, всем понятное. Саша прав был, говоря: надо самим начинать, пока не уехал. Да куда им поднять такую крышу! Двенадцать метров в ширину его строение и двадцать в длину. В бассейне обязательно потолок должен быть тёплым: на брус нашивать прожилыны и настил из горбыля, на

него опилок с глиной. Зажмуришься — голова кру́гом от объёма работ. Виктор приезжал, посоветовал гараж по-иному крыть. Прожилины пустить по стропилам. Высота выигрышная, и утеплить можно таким же способом. В гараже тепло зимой ни к чему. Техника стоит без движения. Но и такую кровлю поставить — попотеешь, вдвоём пуп надорвёшь.

И принялись за самое трудное: брус класть на потолочное перекрытие и стояки ставить на внутреннюю стену, что разделяет бассейн и гараж. С другой стороны, идти-то практически больше не к кому. С Андреем у Ивана были сложные отношения. Он хоть и приходился ему дядей, но моложе на пять лет, друг друга они всегда называли только по именам. Щеголеватый, в костюме и всегда при галстукe, в фетровой шляпе, с большими еврейскими глазами навывкате, горбоносый, Андрей любил позубоскалить с ехидной подначкой, того и гляди уколёт, как шилом, что никому из родственников не нравилось, особенно Ивану, не терпящему в свой адрес выпады дяди. На этой почве возникала неприязнь, а тут уж Иван решил: больше ни к кому не пойдёт кланяться, тем более к Андрею. Но неожиданно столкнулся с ним на улице. Тот был в курсе дела и первый повёл речь с иронической улыбочкой, которую Иван терпеть не мог:

— Я к тебе не пойду помогать принципиально, потому что ты частник, в будущем эксплуататор, а это противно моим убеждениям.

— Но прежняя система показала себя несостоятельной. Она привела страну к пустым полкам. Неизбежный коллапс.

— Я с тобой согласен: виновата прежняя система, но не социализм. В нашей стране его не построили, внедрили лишь некоторые его элементы, и то уродливо и кроваво. В настоящем же времени произошла смена курса экономического развития, но никакой контрреволюции не было, поскольку социализма тоже не было. Потому я палец о палец не ударю, чтобы помочь возрождению частного капитала.

— Да какой с меня капиталист? Я вкальваю за троих. Я в десяти-пятнадцати лицах, то есть профессиях.

— Но ты мечтаешь встать на ноги, окрепнуть, расшириться и использовать наёмный труд. Будешь платить сносную зарплату, а прибыль присваивать.

— Наёмный труд используется всюду, при правильном социализме будет то же самое, — возразил Иван.

— Да — то же, но тогда человек будет получать от него всё, что захочет: прежде всего — чем и как занять себя в личное время. То есть свободу.

— Утопия! Люди всегда считают, что они в чём-то ущемлены, всегда будут недовольны теми, кто стоит у власти или имеет солидную собственность, поскольку эта часть общества считается элитой и получает благ гораздо больше.

— Напрасно так думаешь. Я не был у власти никогда. Выполнял свою скромную работу инспектора-энергетика, единственное, чем был не

совсем доволен,— маловатой зарплатой. А всё остальное я добирал за счёт своих увлечений. Я играл в народном театре, много читал, копил деньги и ездил по стране во время трудового отпуска. Я жил так, как хотел. Вот и ты живёшь, а как? Ты уже забыл, когда ради удовольствия садился за стол или к костру с шашлыком и выпивал стакан водки, ты обрёк себя на круглосуточный труд. Ради чего? В итоге до того уработался, что допустил оплошность и сгорел. У тебя притупилась бдительность от этого адского труда, ты стал роботом, который плохо соображает. Не будь такой гонки, разве бы ты поставил сушить сапоги возле открытого тэна? Твоё несчастье — от неправильного положения вещей, и выправлять его я не буду, я не хочу давать тебе возможность снова быть роботом. Я могу дать тебе только денег, как погорельцу, что всегда было традицией на святой Руси.

— Денег я от тебя не возьму. Они мне пользы не принесут, поскольку они не от чистого сердца, а от сатанинской подсказки.

— Напрасно так считаешь, я же сказал: помогать деньгами погорельцу — это русская традиция. Чего, я думаю, действующая власть не сделала.

— Не сделала, ещё и обвинила в ротозействе.

— Вот, только это не ротозейство, а твоя несостоятельность из-за ограниченных возможностей. Новая власть родила младенца и вбросила его в самостоятельную жизнь, как арбитр шайбу, забыв о том, что психология человека уже в третьем поколении крепко изменилась. Семейно-общинный уклад рассыпался. Ты один. Тебя не поддерживает даже жена, хотя исправно тебя кормит, обстирывает. Твои сыновья — самостоятельные личности. Старший — на Дальнем Востоке, младший тянет лямку временно, из сострадания к тебе как к доброму отцу. И не больше.

— Да, он уезжает в институт. Ему надо учиться, а так бы он со мной работал. Ему нравится моё дело.

— Так почему ты решил найти опору в семейно-патриархальном укладе?

— Я знаю, что в странах капитала существует семейный бизнес на селе. Семейная молочная ферма, овощная плантация.

— У них не разрушался уклад, а укреплялся со времён средних веков. У них всё отлажено. Техника обработки земли, как и обслуживание животных, — на высоком уровне. Ты начал почти с каменного века, правда, с определёнными знаниями. Но у тебя на штанах обрезаны помочи, нет ни одной пуговицы и крючка, ты вынужден их держать руками и работать. Обрезал помочи тот, кто тебя втравил в это дело, то бишь Ельцин. И потом, с чего ты взял, что я соглашусь тебе помогать?

— Как близкий родственник, — неуверенно сказал Иван.

— Ты забыл, как отцы наши и деды шли брат на брата, отец на сына?

— Сравнил, тоже мне. Неужели мы не продвинулись в своём сознании вперёд?

— Ни на йоту. Мы просто стали грамотными. Но если в нас засела идея, её не вышибить из башки, так и волочимся однобоко. И ты, и я. Власть, правда, стала мягче, но не разумнее. Вот только и всего. Она даже не стала бороться с алкоголизмом. И я, имея пристрастие в свободное время побаловать себя стаканом вина, становлюсь алкоголиком. Да-да, не удивляйся, я алкоголик третьей, начальной степени. Без стакана вина не начинаю рабочий день, тем более выходной. — Ладно, прощай, коль мы с тобой по разные стороны баррикады. — Люди всегда будут бить друг друга. Учти!

Иван расстался с Андреем чумной, будто наглотался ядовитого запаха болиголова, от которого его всегда тошнило и шатало. Иван и без Андрея знал, кто родил его и бросил на произвол судьбы, и от этого знания он был гораздо злее на своего родича. Но если бы эту истину открыл ему Андрей, а заодно и свою философию, Иван бы тогда изумился и стал клясть виновника. Морально ему было бы легче: вон где зарыта чёртова собака! Но, к сожалению, всё это он знал прекрасно. И от этого на душе муторнее. И последний подброс о братоубийстве вовсе вывел его из колеи. То, что семейная артель у него не получилась — впрочем, он наблюдает кое у кого такую же петрушку, — тут Андрей прав. Степан с сыновьями будут держаться до тех пор, пока он командует. Оставит — братья не сработаются. Один другого хитрее, один другого ленивее. Один уронит — другой не подхватит. Советская школа. Иван не знает, как бы работали его сыновья, будь Влад здесь. Характеры разные.

В самом деле, с чего взял, что к нему с радостью примчатся на помочь родственники? Иллюзия детства и безвыходность послевоенного времени, прямо сказать — жестокого времени, сплывала людей. Помогали, чтобы выжить, чем могли. Но ведь это нашенское, кондовое. Сейчас в стране от голода не умирают. Бичи мрут от палёной водки. Но кто им виноват? Иди работай, хотя бы к нему. Дел и в Союзе было не переработать, однако бродяг, по слухам, насчитывалась парочка миллионов. Сейчас в райцентре околачивается несколько десятков, которых уже и милиция не берёт, и никому они не нужны. Только по осени на копку картошки зовут. Обросшие, грязные, с коростой на лице и руках, они отталкивают от себя нормального человека. И что поражает: молодые парни и девки среди них, отпетые алкоголики. Нынешний эпизод у Ивана с ними — обычное явление. Лучше бы трёх-четырёх работающих баб да мужиков нанять, но где их взять? Так же с помощью этой. Но тут-то Иван рассчитывал на родных крепких мужиков. Не получается. Бог им судья.

«Ты, Иван, среди нашей родни самый башковитый. Может, на тебя влияет жена-педагог, но ты не такой, как остальные. Видишь куда скакнул», — сидит в голове у Ивана много раз возникающий диалог с Андреем. «Гришу ты списал в разряд недотёп? А он, между прочим, депутат райсовета, передовой в районе комбайнёр». — «Потому

и депутат, что передовой комбайнёр. У него одна думка: как побольше намолотить хлеба. Больше интересов у него нет». — «Что-то я ни одного недоумка не знаю, чтобы наравне с Гришей тягался». — «И я не знаю. Гриша — профессионал, но он замкнулся в своём хозяйстве, в своих намолотах, и дай ему возможность стать частником — он откажется». — «Годы откажут начать своё дело, — подчеркнул Иван, — а хватка у него есть, механизатор первоклассный». — «Ты опять ту же песню тянешь. Разве я о том? Он всего лишь хороший исполнитель». — «Ты сам себе противоречишь: будь весь наш люд такими работягами, страна бы не развалилась. Но ты забыл про Семёна, он магазин открывает». — «Семён — делец, не отрицаю, но у него тоже узкое направление: обогатиться. Он не подставляет своё плечо, как ты, для опоры новой власти. Он только для себя». — «Что ж в том плохого? В конечном итоге я тоже для себя тружусь, а не на государство. Вот ты вино пьёшь тоже для себя и нисколько не заботишься о том, что твой стакан осколками бьёт в окружающих, особенно в молодёжь». — «Вот они, те нотки, которые тебя возвышают над другими. Да, я пью для себя и никого не зову в свою компанию. Я — волк-одиночка». — «Ошибаешься. Знаешь песню: „Ничто на земле не проходит бесследно“? Так и твой стакан не бесследен, а сверкает в лучах твоей повседневки, его видят другие, он соблазняет». — «Ну и пусть! То, на что я молился, во что верил, меня предало. Чего я буду заботиться о чистоте этого лица? Я верил в суррогат, между прочим, как и ты, как и многие». — «Я давно догадался о суррогате, потому и не жалею об утраченном и быстро перестроился. Я давно был готов помочиться на ту систему. Но, вижу, и эта не лучше». — «Во-о! — заорал Андрей. — Во-о! Больше мне от тебя ничего не надо!» — «Ты удовлетворён тем, что я ругнул настоящее. Твой интерес на этом замкнулся. Но если меня спросят: что самое интересное в жизни? — я отвечу: знание будущего. А если спросят: что самое увлекательное в жизни? — я отвечу: получение знания. Новая форма труда — форма получения знания! И, может быть, начало возрождения России». — «Я умываю руки, — расшаркался Андрей. — Твои красивые фразы... Отвечали бы они жизни нашей».

«Беспомощность — вот что отвечает нашей жизни, — думал Иван в унисон неразрешимому диалогу с Андреем, отправляя сына в институт. У него даже слеза навернулась, и он стыдливо отвернулся, смахивая её, как будто расстается с ним навеки. — Человек часто похож на собаку, которая всё понимает, но сказать ничего не может, кроме лая. Вот и я лаю на ситуацию и вою на свою погибель, как старый пёс, чувствуя свою кончину».

Саша, понимая состояние отца, говорил:

— Если никого не найдёшь в помощники, один с крышей не кажилься. Отловим рыбу, продадим, малька в бассейн посадим, и время у нас ещё будет. Ты лучше для перекрытия горбыль привези, распили по

размерам и окроми сколько сможешь. Опилок привези. Управимся до холодов.

— Я тоже так думаю, сын. Только вот что-то мотор стало клинить, как бы в постель не загудеть.

— Вот и убавь пыл. Следи лучше, как слив идёт. Заводчане тоже хороши, нет чтобы на отлов малька самим приехать.

— Некому, у Воронцова в цехе бабы, даже слесарь — девка. У Петренко — то же самое. А то бы приехали. Да и приедут, когда брать начнём. Им тоже интересно, чтобы малёк из пруда сразу в рыбозовку попал, а не в наш бассейн. Меньше отхода.

— Ладно, папа, до свидания. Жди меня в пятницу к ночи. Думаю, за два дня всю рыбу возьмём.

— До свидания, Сашок. Я очень на тебя надеюсь.

9.

Первые дни Лёшка и Валя, считай, торчали в море безвылазно. Грелись на топчанах под мягким, не обжигающим солнцем. Не успеют оглянуться, как на обед пора, сбегают — и снова в волны, на плавучие матрасы. Но прошла неделя, и охотка была сбита. Погода подпортилась, и Лёшка стал прихватывать на пляж коньяк, шашлыки, которые внесли разнообразие в первые безумные дни купания. Блаженство продолжилось, облёкшись в новую форму. Вечером танцы до упаду и вспыхнувшие приступы любви в новой обстановке в номере на двоих. — Как там Иван один управляется? — как-то сказала Валя. — Собрал ли помочь крышу ставить?

— Не понял. Он что, бригаду нанимать не хочет?

— Где он её сейчас возьмёт? На своих надеется.

— И на какое число собирает? — остановил вопросительный взгляд на жене Лёшка.

— Я точно не знаю, но, кажется, на будущие выходные. Надо позвонить, а то душа у меня не на месте.

— С чего это?

— С того, что вряд ли соберёт. Мы с тобой здесь, Гриша на жатве, Семён в разъездах круглые сутки. Деньгу зашибает в новом магазине. Какой с него помощник? У Степана с сыновьями тоже свой бизнес, об Андрее и говорить нечего. Его Иван терпеть не может.

— Так это он перед нашим отъездом к нам приезжал с просьбой о помощи?

— Не то чтобы с просьбой, но надеялся.

— И ты молчала?! Моего зятя любимого да я не поддержу в трудную минуту, моего батарейца, с которым мы два года кашу из одного котла ели?! — Лёшка поперхнулся от такого расклада. — Сегодня пятница, нам осталось четыре дня. Иван там один пурхается, я знаю. Санька, как ты говоришь, в институт отвалил, а Ивану надо бассейн закрыть. Так? Помочи он не соберёт, так? Если так, то я лечу домой один, ты

докупаешься здесь сама. Сегодня же вечером поеду в Адлер, сдам свой билет и возьму на ближайший рейс.

— Глупости говоришь. Если никто к нему не придёт, ты-то погоду не сделаешь. У тебя ещё целая неделя остаётся после моря, вот тогда и поможешь ему. Чего волну гнать?

— Нет, я полечу сейчас. Пусть никто не придёт, к кому он обращался, зато приду я! Это знаешь какая моральная поддержка человеку? Она будет стоить всей помочи!

— Я понимаю твои чувства, — рассеянно ответила Валя, — но если бы дело касалось не моего любимого брата, я ни за что бы не согласилась тебя отпускать и закатали бы сцену.

— Иного откровения я не ожидал. Словом, обедаем, и я мчусь в Адлер.

— Я не удерживаю тебя, но не торопись сдавать билет, пока не купишь новый.

— Не учи учёного! — воскликнул Лёшка. — Идём напоследок поплаваем, и я брошу в море горсть монет.

10.

Назначенный день помочи, а это была суббота, выдался безветренным. Утром по всей долине реки стоял белёсый густой туман. Иван в машине проторчал всю ночь на дамбе, спал вполглаза, вставал, осматривал рыбоуловители, сопровождаемый чуткой Джинной, и снова укладывался дремать, приказывая собаке: охранять! Та преданно смотрела в глаза и тихонько скулила: мол, не беспокойся, облаю любого браконьера. Иван побывал утром дома, выдал жене ценные указания на случай обеда, если всё же родичи соберутся, позавтракал и отправился на ферму. Ехал на пониженной скорости, сетуя на это молоко, и нельзя было понять, как выглядят небо и горизонт, не висят ли там низкие серые тучи, набухающие влагой, которая неизменно прольётся на какие-то хлебные поля, притормозит жатву. Или небо сплошь затянуто окладными серыми низкими тучами, и тогда с минуты на минуту надо ждать, как выжались мужики, областного затяжного дождя с утра до обеда и с обеда до вечера. Но по многолетнему опыту Иван знал, что будет относительное вёдро, поскольку перед восходом слегка приморозило, и с минуты на минуту это тягучее млеко станет подниматься, таять, собираться в небольшие кучевые облака, которые поднимутся ещё выше и расплзутся по небосводу ребристой перистой белизной, сквозь которую на землю польются тусклые солнечные лучи, а, считай, после обеда и вовсе на часок-два плесканёт скупым теплом. В такую нежаркую погоду хорошо работается, а солнечная скупость приподнимает настроение.

Только оно у Ивана нынче дрянное при любом погодном раскладе. Он никого не дождётся, не приехал вечером даже Саша, позвонив, что вся группа нагружена срочной подготовкой к инспекторской проверке,

и в такой ситуации рвать когти первокурснику просто неприлично. Но он обязательно приедет поутру на попутке. В помощники дляготовки пищи пришла двоюродная сестра Ульяны, Сима, особа пьющая и сварливая, кого уж ни Иван, ни тем более Ульяна не хотели видеть. — Что же, не смогу ли я опилки на крышу вёдрами подавать? Встану на насыпку, а мой Котька будет на верёвке вёдра затаскивать на верхотуру. За полдня-то сколько завалим!

Котьке четырнадцатый год. Растёт без отца, с пьющей мамой, работающей техничкой в конторе со скудным заработком и небольшим алиментным подспорьем. Потому чего ж не прийти на помочь, где можно сытно два дня питаться с Котькой, а ей ещё и остограмниться водочкой? Глядишь, Уля Котьке какой-никакой свитерок от Сашкиной нёски подарит или брюки с курткой. Признаться, Ульяна на свалку вещи не выбрасывала, всё, что по размеру подходило и добротное, отдавала сестре. Но, к сожалению Симы, Иван сказал, что для неё и Котьки нет фронта работ: опилки подавать пока некуда.

К девяти утра туман ушёл к небесам. Иван давно уж подоил корову, слил молоко во флягу и опустил её в бассейн. Ещё раз после ночного бдения объехал все сливы, по которым вода медленно уходила из прудов, показывая, что к концу недели в уловах будут сплошь видны горбатые спины карпов, которых нужно будет срочно отлавливать, часть везти на рынок, часть садить в малый бассейн, подавать туда проточную воду из скважины. А вот слив малькового пруда придётся придержать, иначе запурхается с отловом, на который также трудно найти работающего помощника. Разве что Симу с Котькой. Иван прикрыл слив специально устроенной деревянной конструкцией, похожей на шандорину: механической задвижке он не доверял, так как за лето в воде она обрастала слизью, ржавела с воздушной стороны, заедала и в прошлом году едва была сорвана с места, грозя выйти из клина, не открыться и всё погубить.

Иван вернулся с объезда. Вылез из машины, взял инструмент и поднялся на стену — крепить поставленные с Сашей и только прихваченные стойки, на которые лягут стропила. Не успел забить пару гвоздей в перемычки — подъехал Андрей. Он неуклюже вылез из машины, держа в руке бутылку вина.

— Слезай, Ванька, выпей с алкоголиком третьей степени стакан «сухаря». Не желаешь? Вот и я не желаю махать молотком, — пьяно кричал Андрей. — Я специально приехал убедиться, что твоя идея помочи — банкрот! Это я и так знал, но решил лично засвидетельствовать.

— Пошёл вон, Андрей, не зли меня, как цепного пса. Если немедленно не заткнёшься и не уберёшься отсюда, я запущу в стекло твоей «жиги» молоток. Ты меня знаешь, на ветер слов не бросаю.

Андрей тупо уставился на Ивана, чувствуя себя оскорблённым. — Ты это серьёзно?

— Больше чем! Проваливай, не играй у меня на нервах.

— Пожалуйста, господин собственник, но я бы хотел полюбоваться твоей строительной удалью.

Ивану жалко терять время на препирательства и противно слушать пьяный трёп насмешника. Он нагнулся за бакулкой, только что отпиленной от стойки, и запустил ею в Андрея, угодив в ноги.

— Ты чего, взбесился? — зарычал тот от боли.

— Взбесился. Следующий снаряд угодит точно в стекло, не промахнись. Проваливай!

Андрей не поверил в такой исход, почесал ушибленное место и продолжил языком доставать Ивана, зло и мстительно размахивая руками, нажимая на голосовые связки:

— У человека всегда что-то есть: любовь, имущество, дом, дети, талант и наследие. Со временем всё это переходит от человека в иные руки, или он всё проживает, пропивает. Его творения достаются обществу, в итоге у него остаётся только смерть. Запомни мои слова, Иван: только смерть остаётся человеку! Особенно у таких, как мы! Да и у Пушкиных тоже. Все творения великана-поэта достались народу, а ему — смерть. Хотя он и обессмертил своё имя. Тебе-то, жалкому погорельцу...

Иван не спеша, угрожающе нагнулся за лежащим на стене молотком, подхватил его, намереваясь поразить цель.

— Всё, всё! — взвился высокий голос не на шутку перетрусившего, побледневшего Андрея.

Он щучкой нырнул в салон, торопливо запустил двигатель и, надрывая рёвом мотор, попёр на выход.

Иван с презрением проводил взглядом родственника, не сомневаясь, что в таком состоянии ещё секунда — и запросто запустил бы молоток в стекло. Его трясло от наглости Андрея, от его издёвки. Если бы Иван курил, то присел бы сейчас, засмолил сигарету, успокоился. Но он не курил, потому просто стоял и смотрел на уходящую воду из пруда, где местами уже обозначились голые островки, испещрённые мелкими ямками, как оспенные отметины на лице. Это сделали мордами карпы в поисках мотыля, водяных клопов и ручейника.

«Дай Бог скатиться воде до заморозков, — подумал Иван. — Приедет Саша, вечером заведём бредешком тоню. Себе на уху возьмём и местные заказы выполним. Рыба в улово скатывается, ночь опять в машине коротать. На Джину надеяться нельзя, хотя она каждого браконьеришку облает. Достали они меня, гады».

Иван, так и не успокоившись, снова принялся за работу. Настроение, и без того паршивое, вовсе упало. Злоба на Андрея набухала, как семя, брошенное в мокрую почву.

Неслышно подкатил фермер Виктор. Иван спускаться не стал, поприветствовал товарища. Тот подошёл поближе, сказал:

— Вот так и ставь кровлю. Главное — укрой от непогоды цех, а потом помаленьку и потолок зашьёшь. Мне тоже одному приходилось плотничать. Главное — размеренно, без суеты делай.

Иван молча и согласно кивал головой. Помолчали.

— Так никто и не приехал из родичей? — с укором сказал Виктор. — Да, люди сильно изменились и ещё будут круче меняться. У меня тоже мой надёжный помощник уходит, говорит, мало плачу. Я ему толкую: не с чего приплатить. Подожди, начну забивать бычков — добавлю. Не верит, хотя на всём готовом живёт. Даже свою кралю частенько у меня столует.

Ивану сказать нечего, только и кивает в знак согласия, присев на корточки на стене.

— Не на той сковороде, видать, мы блины стали печь, — всё же ответил Иван.

— Сковорода та, масло не то в головах у людей, да и у Ельцина с его управ-бандой. Трёпу много, а от него сковородка не накаляется, блин не прожаривается и не снимается. Комом всё идёт, собакам только такое жариво.

— Ты прав, от такого трёпа бодаться порой не хочется, а плюнуть, как жинка говорит. Но ты поезжай, посмотри, какие горбачи золотистые в уловах спины кажут. Оцени! Как тут не продолжить бодаться? Так и хочется на рог подцепить трепливого тореадора.

Виктор повернулся в сторону одного из улов, которое хорошо просматривалось отсюда метрах в ста пятидесяти, и там чувствовалось движение большой массы рыбы.

— Я проеду, посмотрю, занятное дело. Черпать рыбу начнёшь — скажи, я тебе Илюху пошлю. Он заядлый рыбак, поможет за пару жарёх.

— К концу недели подоспеет. Я приеду к тебе накануне, скажу.

— Ладно, бывай, Иван, поеду полюбуюсь горбачами. Зрелище — ча-сами можно любоваться!

Виктор сел в машину и тронулся в направлении дамбы, к сливу, а Иван, довольный вниманием товарища, принялся за стройку.

Настроение, слегка приподнятое Виктором, вскоре опустилось до прежней планки, какое посещает человека, оказавшегося в одиночестве. Он монотонно забивал гвозди в дерево своей конструкции, поднимал тяжёлые стропила, изредка поглядывая на дорогу с наивной надеждой увидеть кого-нибудь из родственников. Ощущение одиночества и забытости усиливалось. Он не бывал в шкуре смертника, которого приковывали цепью в окопе к пулемёту для прикрытия отходящего войска, не представлял и малой части отчаяния человека, обречённого на смерть, но понимал, что человеку жутко страшно, человек может сойти с ума. Он берёт во внимание не японских смертников, которые, как он слышал, годами готовились к такому исходу, а обыкновенного, в чём-то проштрафившегося солдата как с той, так и с другой воюющей стороны, конечно же, молодого парня,

ибо пожилые вряд ли приведут себя к такому концу. И вот он сидит на цепи и ждёт атаки. Он ведь может и не стрелять, и наверняка не будет, чтобы не обнаружить себя и не вызвать шквал огня, а постарается, прижатый страхом, врасти в землю, сделаться невидимым, спастись назло его палачам, сыгравшим с ним злую штуку. Палачи, конечно, напоят его водкой, прежде чем уйти с позиции, даже оставят ему ещё для храбрости со стакан во фляжке, чтобы он, одуревший, вёл огонь, войдя в состояние аффекта, когда злость на всё и вся властвует над твоим рассудком; и это нечеловеческое состояние подкрадывалось к Ивану, ввинчивалось ему в мозг, хотя выглядел он вполне спокойным и деловитым, добровольно взявшимся за своё дело. Но сознание того, что он брошен и один, — стучало в его мозг ударами молотка о гвозди, ж-жикало пилой, когда он запиливал пазы, смачно щёлкало сухой древесиной, когда он откальвал топором подпил и кусок отщепы летел и звучно падал в пустой бассейн, а стропила, музыкально сыграв низкими нотами, укладывалась в своё ложе, — и все эти звуки говорили, что их слишком мало, они хилы и беспомощны — а должен бы тут сейчас висеть в воздухе такой перестук, такой перезвон, такой говор и смех! — что утяжеляли его состояние; движения его, сознательные и пластичные, стали вялыми и неточными, а выбор удобной позиции для удара молотком или топором сделался неверным, появилась суетливость, и он уже дважды или трижды оступался и едва не терял равновесие, судорожно хватаясь за деревянные: попросту он устал, сказались почти бессонная сторожевая ночь, такая же предыдущая и заполненные трудовые дни.

Отдыхать он не умел. Бывало, присядет где-нибудь передохнуть — и тут же вспомнит что-то неотложное, вскакивает и бежит, а вслед Сашино ворчливое: мол, перекурить не даёшь. «Ты кури, кури, а я сейчас, мигом обернусь, вспомнил, ещё тот раз хотел сделать». И такое постоянно...

В эту ночь Григорий спал плохо, часто просыпался, вспоминалась просьба Ивана о помочи, виделось, как он будет безнадёжно поглядывать на дорогу в ожидании его, старшего брата, а он не приедет, предательски спрячется за свои нужды и рекордную мольбу хлебов. Как же погано станет на душе у человека, вся вера в добро — через колено. По становой хребтине этой веры, в какой жили все советские годы, — железным кулаком безразличия к судьбе не чужого мужика, а брата. «Почему же мы такие становимся? Напрочь забываем стародавние обычаи — помогать сообща человеку в беде: с миру по нитке или на помочи! Не крещёные, что ли, мы, не православные ли русские люди? Неужто так безнадёжно очерствели за годы разора страны и её хозяйства? Нет, утро вечера мудренее. Встану, пойду к директору и скажу: так, мол, и так, два дня меня не будет. Комбайн пусть наладчики шаманят. Ладом. А заартачится, не поймёт — плюну».

Приняв в ночи, в полудрёме решение, успокоился, забылся, а утром у порога директорского кабинета уселся, подождал, пока прошла раскомандировка, а специалисты разошлись. Вошёл, опустился на стул у окна. Директор глаза выпучил, увидев Григория в кабинете, а не у комбайна.

— За отгулами пришёл, отпусти на два дня.

— Что ты сказал? Два дня?! Ты меня без ножа режешь, Григорий. Какие могут быть отгулы в жатву, да ещё у рекордсмена?

— Семейные обстоятельства заставляют, — нехотя, но зло отвечал Гриша.

— Что за обстоятельства, объяснить можешь?

Директор сидел за своим обширным столом, грузный, в годах, как и Григорий. Тот и другой начинали в хозяйстве смолоду, знали друг друга как облупленные.

— Могу, но не хочу, не поймёшь.

— А ты попробуй.

— Слыхал, небось, — брат Иван погорел? Он помочь собирает.

Директор закусил губу, набычился. Верный признак упрямства.

— У нас тут тоже пожар. Кто нам помочь соберёт? Райкомов сейчас нет. Это они гнали комбайны к отстающим. Теперь каждый за себя.

— По-хорошему, вижу, у нас не получится. Так я сам пойду. Даже со скандалом. Святое дело — погорельцу помочь. И ты меня на старости лет не посмеешь попрекать, — Гриша повернулся и вышел из кабинета, не обращая внимания на сжатые в гневе кулаки директора.

Дома он долго возился с «Москвичом» — не заводился, холера его возьми, давно рук к нему не прикладывал. Пошёл искать кого-нибудь, чтоб дёрнули. Нервничал. К счастью, жена на работе, не нудила. Поглядывал на бегущее солнце и тронулся из усадьбы, когда повалил одиннадцатый час. Подъезжая к ферме брата, Гриша увидел, как Лёшкин «Форд» сворачивал с трассы к Ивану на участок, обрадовался. Несколько успокоился, что не он один опаздывает, но ругнулся про себя за нерасторопность свою и Лёшки. А сердце всё же запело: как же, к брату на помочь стекаются люди! Человеческое это дело, глубинное, кондовое.

Не доезжая до своротка к Ивану, увидел гружённый чурками самосвал. Он притормаживал и сигналил Грише.

«Никак дядька Степан с сыновьями? — подумал. — Точно, он, чертяка!»

— Здоровья, Гриша, — высунулся из кабины Степан. — Ты к Ивану?

— Да, припозднился только. И вам доброго здоровья.

— Мы сейчас вернёмся, не замешкаемся, передай Ваньке. Гуртом и батьку бить легче! — Степан ощерил в улыбке вставные ровные зубы, махнул рукой вперёд.

Сын врубил передачу, и грузовик покотил в деревню, а Гриша заторопился на ферму.

— Смотрю, папаня, отлегло у тебя от сердца,— сказал старший сын Степана.— То-то я думаю: с чего это ты с утра на поляне руками размахался, да всё по шее нас? И вконец «зилка» засадил в лужу. Хорошо трактор рядом, выдернули.

— То и размахался, что этот проклятый бизнес из меня едва чурку не вырубил. Развякались: потеряем в заработке. Совесть едва не потеряли! Спасибо ей, что она сгоряча и по шее вам наподдавала, и лужу под «зилка» плеснула.

— Хо-хо-хо! — запрыгали кадыки у сыновей в весёлом смехе.

Улица деревни замелькала домами, самосвал подрулил к одному из них, опрокинул на приготовленную площадку чурки. Мужики без промедлений заехали домой, объяснились с домашними, прихватили кой-какой плотницкий инструмент и запыхтели к Ивану на ферму.

В очередной раз Иван оступился нескладно, поскольку увидел боковым зрением идущий красный «Форд» Лёшки, к тому же просигналивший, возвещая о себе. Иван вздрогнул, качнулся, взмахнул рукой, в которой держал молоток, цепляясь им за стропилину, чтобы удержать равновесие, но она ещё не была пришита к стойке и от рывка соскочила с запыла и под своим весом полетела, ударив Ивана по шее, сбивая его со второй ноги, которой он стоял на перекладине. Он падал правым боком. Падать всего ничего, два с половиной метра, в худшем случае крепко ушибётся или сломает руку; главное, едут к нему ребята на помочь, не умерла традиция русского мужика.

Лёшка и сидящий с ним Саша видели, как падал Иван, и, подлетев к бассейну, оба не стали бежать к двери вокруг строения, а перемахнули через стену и увидели, что тот сидит на куче опилок, держит правой рукой левый окровавленный локоть, а у самого улыбка шесть на девять, а в глазах слёзы радости. Вытащат его родичи из ямы, в которую упал, непременно вытащат.

Сухобузимское, 2009

Василий Забелло

Байкальские рассказы

ФАРТ

Окутанная блескучей изморозью, на горбовину гольца выкатилась луна и осветила крестьянское подворье. Охотник накормил собаку, затолкал в конуру охапку сена и, ещё раз глянув на луну, пошёл в дом. Ожидалась перемена погоды, нужно было хорошенько отдохнуть. Неделью кряду он с собакой «ломал» кедровые гривы междуречья, но всё безрезультатно: свежего соболиного следа так и не встретил. Азарт иссякал. Очередная вчерашняя неудача вызвала приступ отчаянной злости: «Всё... ша! В гробу бы видеть такую охоту! Что я, прокажённый, что ли?» Охотник в сердцах сбросил понягу, хрипло выругался и дулетом разрядил ружьё. Гремучий заряд отшиб ветку, и звук, угасая, забился в распадках. На выстрел прибежала собака, охотник даже не сказал — рыкнул: «Домой!» Закат виновато посмотрел на хозяина: дескать, прости, не нашёл, — ткнулся холодным влажным носом в руку и покатился вниз к дому.

Но то было вчера, а сегодня охотник весь день промаялся, не находя себе места. Оставалось несколько дней отпуска. Не попытать ли удачу ещё раз? «Вот так всегда: отгаешь малость, отойдёшь — и опять тянет бежать в тайгу, как будто она без тебя засохнет. Эх, порошу бы!»

И пороша выпала как по заказу. Тронулись затемно, и уже с рассветом охотник был в знакомом распадке. Подошва горы, поросшая молодым березняком и осинником, была сплошь исписана набродами заячьих жирюков. Одуревший от свежей пороши, Закат хватал нервными ноздрями горячие запахи следов, то и дело вырывал поводок, приходилось осаживать. На охоте зайцы — это беда, изматывают собаку, что потом никакими силами не заставишь её работать, будет плестись сзади. Нужно было скорее подняться на хребет.

Галанская грива, куда направлялся охотник, для соболиного промысла не очень подходяща: высокая, крутая, с множеством широких россыпей. По выражению промысловиков, с собакой там охотиться «не нога». Но что делать, если в более удобных и доступных местах соболей, с приходом на Байкал стройки, ощутимо подобрали. Охотник, за редким исключением, промышлял обудёнком — одним днём, всякий раз разматывая круг в двадцать пять — тридцать километров. Участка он не имел и потому считался браконьером. Однако добытчик не соглашался с поставленным на него презрительным тавром, поскольку считал себя потомственным таёжником известной фамилии.

После войны его отец освоил довольно большой отмер и всегда перевыполнял план. В ту пору соболями расплачивались за американские паровозы, и отец был не последним человеком в этом деле, о чём не без гордости при случае любил прихвастнуть. Пока сын служил в армии, отец остарел, держать одному тайгу стало не по силам. Отмер передали другому, со стороны.

Со службы охотник вернулся, а вот участка вернуть не смог, к этому времени сменились и охотовед, и директор промхоза. Старые промысловики, зная, как без этой заразы — охоты — тяжело прожить, по дружбе разрешали соболевать на своих участках, но чтоб промышлял, не мешая им.

За отпуск охотник добывал четырёх, редко пять соболей, сбывал втихаря по договорённости. Как говорится, отрывали с руками да ещё наперёд заказывали, так что, по выражению самого охотника, штаны было чем поддержать. «А как иначе? — рассуждал он. — На одну зарплату прожить тяжело, да когда с тебя вдобавок алименты дерут. И с другой стороны посмотреть: сдай в промхоз — получишь шиш; завсегда промысловики обижаются, и всякий старается пять или шесть шкурок тайно пустить на сторону, да которые получше. Посчитай, сколько женщин по городу в баргузинских соболях разгуливают? Да оно и правда: чем наши женщины хуже заграничных? Не всё же „мадамам“ в русских мехах щеголять».

Одно только угнетало охотника: скудеет тайга, и не потому, что браконьеров развелось много, как раз немного, по сравнению с главным браконьером — комбинатом — слону дробина. Это его промышленная мга, которая годами висит над тайгой, бьёт по ягодникам, по птицам, по кедровникам. Не раз и не два, задыхаясь, пробивался охотник через эту сизо-лимонную мгу, не раз и не два видел, как вытягиваясь на камнях и колодинах, пропадали мыши, как осыпался побуревший кедровник. «Да какой же я после этого браконьер? — рассуждал охотник. — Тайга-то уже и тайгой не пахнет, чахнет, тускнеет таёжная зелень — от меня, что ли?»

Перед подъёмом березняк рос гуще, ружьё пришлось перебросить за спину и круче забрать на хребет. Галанская грива замыкала в себе несколько хребтов и возвышалась над Байкалом более чем на тысячу метров. До недавнего времени тайга в изобилии хранила разную живность: на ягодниках кормились выводки глухарей и рябчиков; в кедровниках, едва орех наливался молочком, шустрые бурундуки принимались стричь шишки; по осени на урожай набегали чернохвостые белки-кедровки, рыжехвостые белки-еловки — вечные кочевницы, в благоприятные годы они успевали приносить по три помёта; на старых горях в малиннике паслись медведи, нагоняя страх на случайно набредших ягодников; в сырых болотистых распадках ягнились косули, а во время золотой опади в этих же распадках сильные и грозные быки-изюбри держали гаремы в пять, а то и в шесть маток, и некоторых

из них охотник знал по виду, по голосу. В мелколесье, кроме зайцев, обитали колонки, горностаи, охотящиеся на рыжеватых полёвок и кучехвостых сеноставок-пищух; и ещё много другой живности в изобилии водилось в тайге до недавнего времени, и каждый вид занимал и осваивал только своё жизненное пространство. Славилась некогда Галанская грива и соболями, любили они обживать в густых тёмных кедрачах, в россыпях, скрадывали рябчиков, зазевавшихся пищух, не пробегали и мимо рясной черёмухи, рябины — лакомились вдоволь. За последние годы в тайге всего поубавилось. Охота зачастую превращалась в пустую трату времени. Вот и отец нынче сказал: «На охоту теперь надеяться нечего, занялся бы каким другим делом». Но как займёшься другим делом, когда с малолетства сидит в тебе эта «зараза»? Каждый раз от тоски изойдёшь, ожидаячи первого снега.

На хребте охотник спустил с поводка собаку и рукой показал направление. Обрадованный кобель стрелой полетел вперёд, но через десяток-другой прыжков остановился возле пня, обнюхался, задрав ногу, отметил своё грозное присутствие и, разгребая снег, пробуксовал на месте, оглянулся на хозяина, услышал знакомое: «Ищи!» — и челноком пошёл вверх.

Кобель был окрасом лисий, среднего роста, грудаст, кольцо хвоста держал на левом боку. Сухие жилистые лапы — до половины белые. Умные, с раскосинкой, глаза смотрят живо и весело. Маленькие острые уши чутко стригут на покато́й лёгкой голове. Чего же там говорить, кобель принадлежал к доброй породе карело-финских лаек, и только рано поседевший и несколько удлинённый нос с широким сквозным разрезом между норок напоминает о редкой примеси восточносибирской крови. Хорошие соболёвые собаки встречаются нечасто и высоко ценятся среди промысловиков. Охотнику долгое время на собаку не везло. Были когда-то у них соболятницы, да породу упустили, а возобновить оказалось делом далеко не простым. Разных потом заводили — и с чужих рук брали, и в питомнике, но все они не удовлетворяли охотника: то чутьё слабое, то медведя боится, то хитрая и пакостливая, то ленивая, то обидчивая, — и только про Заката, когда тот первоосёнком облаял три десятка белок и загнал четырёх соболей, отец сказал: «Этот кобель сто сот стоит, такой даётся раз в жизни, береги!» И сын берёт любимца пуще своего глаза. А достался он ему случайно. У проезжего чалдона в вагоне ощенилась сука, принесла одного-единственного щенка. Сразу же начались неприятности: того и гляди, кого-нибудь укусит. Волей-неволей пришлось избавляться от приплода. На счастье, рядом оказался охотник, разговорились, чалдон предложил ему щенка: «Возьми, паря, грех такого выбрасывать, выкормишь, добром поминать будешь».

Рос кобельёк резвым и понятливым, с его появлением двор сразу ожил. Правда, не обходилось и без проказ. Как-то охотник колот дрова, слышит, куры, что впервые были выпущены на весеннее солнышко,

испуганно закричали и захлопали крыльями. Оказалось, Закатик гоняет по ограде, поймал курицу за крыло и возит, та, растрёпанная, по-сумасшедшему кричит и силится вырваться. Охотник схватил прут и тут же отстегал щенка, приговаривая: «Нельзя, шельмец, нельзя!» После этого куры ходили возле вытянувшегося на солнышке Закатика, но тот только глазами косил, наблюдая за ними, а со временем и вовсе перестал замечать.

Холодное зимнее солнце нехотя наполняло таёжный день светом. Закат рыскал по кедрачу, забирая всё выше. На взлобке он взял беличий след и через несколько минут подал голос. Охотник сразу определил: лает на белку. Не так-то просто было высмотреть в густохвойном кудрявом кедре затаившегося зверька. Белка, изобразив хвостом хвойную кисть, выстелилась на ветке. «Вон где ты, голубушка,— обрадовался охотник,— ишь как замаскировалась». Он зарядил стволы испытанной «тулки» беличьим зарядом и, прицелившись, ударил по тёмному пятну головки. Белка, кувыряясь по веткам, упала в снег. Закат, затаённо следивший со стороны, в два прыжка очутился подле и придавил ещё дрыгавшегося зверька лапой. «Нельзя!» — услышал он строгий голос хозяина и отошёл. Охотник поднял затихшую белку, отрезал передние лапки и отдал собаке. «Начало есть, спасибо Хозяину¹, пошлёт ранний след, до обеда распутаем,— потрепал кобеля за ухом, прижался щекой к морде.— Соболюшку ищи, соболюшку!» Закат знал, что от него требуется, ответно лизнул в щёку и через мгновение скрылся из виду.

...Далеко внизу, откуда нередко доносился удушливый запах дыма, россыпью сверкали угольки. Они появились несколько лет назад, и соболю, выходя на жировку, подолгу смотрел на них. Сегодня ночью он побежит навстречу этим тлеющим уголькам, вернётся к оставленному урочищу, в своё родное гайно, где впервые увидел свет и впервые услышал заботливое урчание матери-соболихи. О, какая душистая и сладкая черёмуха вызревает по ключам старого обиталища! И соболю протянет к ней цепочку следов и налакомится вдоволь. Он безошибочно, по известным только ему одному приметам, отыщет родное гайно и заново обживёт его, а если оно окажется занятым, он прогонит поселенца. Там, в узловатых корнях старого кедра, в одну из тёплых майских ночей началась его соболина жизнь.

В помёте их было трое: две маточки и он. Ещё слепышом, расталкивая сестёр, он первым отыскивал под мягким брюшком матери самые полные и сладкие соски. На два дня раньше, чем у сестёр, у него прорезались глаза, и он первым стал выходить наружу и знакомиться

1. В любых таёжных делах охотники уповают на Хозяина: у него просят удачи, приглашают к чаю, спрашивают разрешения ночевать в зимовье и т. д. Хозяин — это совесть охотника, неписанный закон. Обычай этот соблюдается и в наши дни.

с тайгой. Однажды они заигрались с пойманной мышью, и одну из сестёр скараулила сова. Она с лету схватила её и унесла. Соболиха-мать долго разыскивала детёныша, но, кроме капелек крови и клочков шёрстки, ничего не нашла. С тех пор она оставляла соболят только спящими, ловила поблизости мышей и птичек. Иногда соболят донимали блохи, перешедшие от матери, и тогда на солнцепёчном косогоре они отыскивали духмяную богородскую травку и катались по ней, выгоняя блох. Но настоящее беспокойство и угнетение испытывали соболята от клещей. Насосавшись за несколько дней крови, клещи тугими горошинами осыпались в траву, оставляя после себя болючие язвы-присоски. К концу лета соболята повзрослели, они уже достаточно далеко уходили от гайна, питались черникой, скрадывали птичек, гонялись за белками.

К осени у каждого определился свой круг обитания и своё гайно, где, насытившись и набегавшись, соболя отдыхали по два, а то и по три дня, выходили только по нужде в облюбованное место. Большой удачей считается у охотника найти такую уборную зверька, капкан ставится без маскировки, и соболю, спячиваясь, попадает в него. Таким же образом в свою первую зиму оказался в капкане и он, спасло лишь то, что дужки сомкнулись неплотно, между ними застряла веточка. Забился соболю в капкане, но лапу выдернул, изувечив подушечку. С тех пор на снегу оставалась характерная для его следа чёрточка. Ту зиму соболю пережил тяжело, в основном кормился рябиной, подбирая обронённую синицами недоклёванную ягоду. И всюду его преследовал запах железа.

Следующие три года он обитал в гольцах, жировал на стланиковой шишке, ловил кедровок и белых куропаток.

В четвёртый год его к родному гайну вернул неурожай в гольцах. Тогда он впервые неожиданно попал под собаку. Первоосёнок был хоть и пряткий, но неопытный: в азарте проскакивал на зигзагах, возвращался, распутывал след заново, отставал; соболю даже осмелел, обернувшись, злобно урчал, чем немало дразнил преследователя, и всё не мог понять, почему не отвязывается. Наконец соболю описал по склону круг, сбил преследователя со следа и ушёл в россыпь. Когда собака разнюхала его, он из-под камней свирепо заурчал на неё и раскалённо сверкнул глазками. Потом послышалась ещё чья-то поступь, в проходе с треском зачатила берёста, и по лабиринтам россыпи потянул дым. Соболю забился глубже и затаился. Дым его не доставал. Но зверёк долго дрожал, охваченный смертельным страхом. Так в его жизнь вошла ещё одна привычка осторожности.

Хребет становился круче. Охотник замедлил шаг. Собачий след оставался то с правой, то с левой стороны — челночный поиск позволял кобелю больше охватывать и прослушивать тайги. Вот здесь кобель резко, во всю силу, ударил в южный косогор. «Наверное, учуял рябчиков», — заключил охотник, но на всякий случай решил проверить.

И действительно, минут через пять след как по шнуру привёл его к ночёвкам таёжных курочек. По отпечаткам читалось: рябчики, слышав собаку, вовремя вылезли из-под снега и «брызнули» в разные стороны. Кобель заметался, не зная, которого из них преследовать. «Вот дурень, силы попусту тратит, ведь знает, что бесполезно...» Впрочем, было видно: Закат скоро успокоился и потянул прежним направлением. Продравшись следом через сплетения густого ельника, промысловик вышел на старый оползень — открытый небольшой участок, поросший редкими рябинами. В тело помаленьку начинала вселяться усталость. Охотник снял понягу, расправил подзатёкшие сутулые плечи и сел на валежину перевести дух.

Прошло более часа, как Закат, облаив белку, оставил хозяина. Колок за колком он прослушивал тайгу, надеясь уловить знакомый запах. Ему помнился первый соболь, которого он загнал скорее из любопытства и по чистой случайности и который впился в нос мёртвой хваткой, когда кобель полез за ним в корни. Визжа и плача, Закат с трудом стряхнул соболя, вмиг закусил и затряс до смерти. После этого случая соболей он разыскивал и гонял с особым упоением. Закат набежал на соболиный след и уловил слабый прерывистый запах; он, взвизгнув, возликовал и лёгким намётом пошёл за соболем.

След принадлежал очень крупному самцу и был не меньше, чем у Заката, отличался лишь тем, что слабее продавливал снег и был другой формы. Ровные спаренные лунки извилистой цепью пересекали хребет. Характерной для следа была чёрточка; видимо, соболь, поджимая в прыжке задние ноги, чертил коготком. «Чертёжник! Неужто старый знакомый?! — вырвалось у охотника. — Года три не показывался, и нá тебе — нарисовался! — охотник внимательно рассматривал след. — Точно, тот самый; однако, часов пять как проскочил». Вмятины, что оставляли соболиные подушечки, были присыпаны снежной крупкой. Охотник не сомневался: Закат наверняка распутывает след, иначе бы давно показался. Вскоре охотник вышел к месту, откуда кобель начал раскрутку.

Сначала след круто спустил вниз, потом поднял вверх, косогором привёл к завалу, из которого пришлось долго выбирать, перелезая через полосу свежего валежника; из валежника след потянул к замшелой россыпи, здесь соболь надолго задержался, кружил, вынюхивал пищу. Нелегко было Закату распутать жировку, для среднего чутья такие переплетения пятичасовой давности не по силам. Слышать разницу между строчками-пробегами в три-пять минут способна только тренированная талантливая собака. Было видно, что Закат метался из стороны в сторону между каменных глыб, выходя на более свежую строчку. После этой жировки он часа на три приблизился к соболю. Охотник обогнул россыпь и срезал на выходные борозды собачьего рыска. Вторую жировку Закат распутал быстрее, он описал полукруг и потянул последним ответвлением соболиной цепочки. На этот раз

соболь задержался в рябиннике, кормился горьковато-сладкими плодами и заодно подкараулил свиристеля. Развеянные по снегу серые пёрышки и бусинки крови красноречиво рассказали охотнику о соболином пире. После второй жировки Закат уже надёжно держал след «на носу». Стойкий запах отпечатков дразнил и возбуждал лайку. Кобель заметно прибавил прыти, чую след на расстоянии, срезал углы и зигзаги, с каждым прыжком уверенно приближался к соболу.

Охотник торопился; он давно распахнул ворот, изредка на ходу омывал снегом лицо. След соболя уже настолько был горяч, что, казалось, парил. Несколько раз охотнику чудился лай, он останавливался, расправлял затёкшие плечи, задерживал дыхание, вслушивался.

Соболь оказался опытный. Когда услышал, что к нему кто-то приближается, он повернул голову на шум и несколько раз раздражённо и отрывисто фыркнул. Что-то донельзя знакомое и смертельно опасное вдруг почудилось в этом шуме. Соболь сорвался с места и мячиком полетел вниз. На некоторое время шум отдалился, но за поворотом опять приблизился. Более километра соболь отчаянно гнал во всю прыть, на какую был способен, проскользил ельником вверх и, замыкая кольцо, выскочил на свой прежний след. Теперь соболь видел борозды своего преследователя; от них резко и неприятно пахло. Преследователь неотвязно прослушивался сзади, хотя несколько поотстал. Некоторое время соболь повторял свои следы, но после пружины взлетел на ель и замелькал верхом, планируя с дерева на дерево с помощью растопыренных лапок.

На кольце Закат осёкса, закрутился. Парной соболиный запах сомкнулся и сбивал с толку. Кобель метнулся во внешнюю от кольца сторону и затаил дыхание. Чёрные кончики ушей напряглись и стали ещё острее. Из глубины кедрового колка донеслось дробное цоканье соболиных коготков о мёрзлую кору. Закат ринулся в кедровник и с этого момента держал соболя слухом, то и дело взлетая свечой над снежным покровом.

Заслышав преследователя снова, соболь спрыгнул и зачертил к северному склону, надеясь по глубокому снегу уйти от собаки.

Охотник перевёл дух. Солнце показывало за полдень. «Вот тебе и ранний след — до обеда. Куда же ты теперь отправишь свои стопы? — по привычке охотник мысленно разговаривал с соболем. — Только бы не в россыпь!» Он пригляделся к следу: «Ага, и чёрточка глубже, и мах короче, пристал. . . кобель-то полтора маха твоих кроет».

И тут из-под вершины Галанской долетел слабый лай Заката! В груди будто сердце оборвалось. Много раз охотник слышал этот раскатистый угрюмый лай, а привыкнуть не мог, вроде и ожидал его, а всё равно он застигал врасплох. Охотник вслушался: «Похоже, загнал на дерево, однако далековато. . .»

Кедр доживал шестую и, как оказалось, последнюю сотню лет, был огромен и дряхл. Таких одновозрастных стариков-великанов

с треснутой у основания заболонью и трухлявой сердцевиной, но всё-таки способных ещё питать крону и давать плоды, было немного. Они стояли усталыми исполинами, лет двести назад пережившие страшную бьль ветровала, который сокрушил более слабое поколение кедров, обратив их в беспорядочно нагромождённые кучи-завалы. «Если соболь пойдёт в завалы,— невольно подумал охотник,— собаке не взять». Кедр, который облаивал Закат, отличался от своих братьев тем, что был без макушки — след ветровала. Культю на тридцатиметровой высоте продолжила боковая ветвь; она развилась в самостоятельный ствол и напоминала мощную, воздетую в небеса руку. Местами ствол был испещрён дуплами — дятлы потрудились на славу, извлекая из него разных насекомых. «Да... такого исполина и втроём не обхватишь».

Закат, круто задрав морду, заливался, показывая, что соболь где-то в дупле под верхом. Увидев хозяина, он перестал лаять и только изредка повизгивал и поскуливал. «Ай, Закат! Ай, молодец! Соболушку загнал матёрого». В ответ на похвалу кобель завилял хвостом и ещё сильнее заскулил. Охотник скинул понягу, вынул топор и со всего маху ударил обухом по стволу. Удар глухо погас, не дойдя и до середины. «Не пробить... ну что ж, придётся выживать дымком». Охотник запалил в корнях смолёвые завитушки, бросил на них сухого гнилья и, держа наготове двустволку, встал повыше. Скоро дым проник в дупло, тонкими струйками зачал из щелей и отверстий; но, как и звук, дым едва просачивался до половины ствола. Требовался огонь мощнее.

Охотник обошёл вокруг кедра; соболь не подавал никаких признаков. Под взмокшие лопатки стал пробираться холод. «Как бы не простыть с поту», — подумал охотник и развёл огонь пожарче. Закат сидел на прежнем месте строго и напряжённо, редким поскуливанием выдавал беспокойство. «Смотри не прозевай», — охотник погрел спину, поставил на огонь полный котелок снега. «Да, брат, завёл нас соболушко! Но ничего, Хозяин даст — возьмём. На вот... поддержи силёнки», — кинул варёную, добытую в прошлой охоте белку. Поймав её на лету, Закат жадно стал есть, не забывая, однако, следить за кедром. Подкрепившись нехитрой пищей и снеговым чаем, охотник ещё раз внимательно со всех сторон осмотрел дерево: соболя не было.

Пришлось прорубить заболонь и запалить трухлявую сердцевину. Сухое гнилье зашипело, задымил, и скоро пламя охватило всё надкорневище. Подождав немного, добытчик снова обошёл кедр и стал поодаль. Дым густыми клубами выкручивался из проруба, тянул из щелей, дупел. С шумом осыпалось подъеденное огнём гнилье, на время заглушало пламя, отчего дым становился плотнее. Соболь не показывался. Начинало закрадываться сомнение: здесь ли он? Не ушёл ли по залому верхом? Охотник посмотрел на Заката, но тот по-прежнему выслушивал таёжные звуки, сидел не шевелясь, как изваяние. «Закат! Где соболь?» Кобель повернул к хозяину седоватую

морду и, косясь на дерево, отрывисто и угрюмо взлаял. «Нет, собака врать не будет, здесь он». Дым заволакивал ствол и только под макушкой, подхваченный верховиком, рассеивался. Огонь набирал силу.

А тем временем тайгу заполняло первой низкой тенью близкого вечера. На хребте, пронзительно всхлипывая, одиноко заплакала желна. Настроение было скверным, начинали коченеть ноги. Охотник, переминаясь, всё чаще останавливал взгляд на срезе макушки. Если соболь в дупле, дым рано или поздно выживет его. Одно было подозрительным: долго не появлялся соболь — или слишком упорный, или задохся в дупле.

Подождав ещё, охотник утвердился в последней версии; он попробовал было закидать снегом пламя, которое уже облизывало наружную стенку проруба, но огонь с шипением расплавлял снег, исходил дымом и занимался с прежней силой. Окончательно отчаявшись, охотник стал сердито упаковывать понягу. Нервозность хозяина тут же передалась собаке. Закат подскочил, ткнулся в руку и опять, только более настойчиво, взлаял. «Неужто вылез?..» — догадался добытчик и как подстёгнутый отлетел с ружьём.

Среди веток, что свисали над срезом, померещилась голова соболя. Охотник вскинул ружьё и выстрелил наудачу. Соболь дёрнулся и повис на срезе. Добытчик откинул ружьё и, не осознавая, что делает, полез на кедр. Тонкие отмершие сучки предательски обламывались, охотник безнадёжно скатывался, но пытался снова и снова, пока не резануло сознание: «Шест!»

Моментально была срублена пихтушка и приставлена к дереву. Преодолевая боль в окоченевших пальцах, добытчик подтянулся по шести и, вконец запыхавшийся, зажал под мышкой основание первого надёжного сучка. Было слышно, как внутри кедра, выжигая дупло, шумит огонь, который опять набрал силу и с каждой новой осypью стрелял из проруба метёлками искр.

Отдышавшись и отогрев пальцы, добытчик полез выше. Дым всё плотнее окутывал кедр, разъедал глаза, забивал горечью рот, и только колебания воздуха, на время отклоняющие его, давали возможность осматриваться и взбираться выше. Под верхом стало легче. Толстые живые ветки надёжно держали охотника. Ощущение зыбкой высоты, которое парализующим страхом сковывало движения, отдалилось и облегчило подъём.

Добытчик поднимался с ветки на ветку, пока не наступил на витой изгиб макушки. Мёртвый соболь висел на подмышках и лишь чудом не свалился назад в дупло. Из простреленной обвислой головы, окрашивая на сучьях снег, капала кровь. Только и бросилось в глаза охотнику, что соболь невероятно большой и ворсистый.

Из дупла упругой струйкой потянул просочившийся дымок. Добытчик торопливо затолкал соболя под рубаху за спину и стал спускаться. Стараясь держаться противоположной от проруба стороны, он быстро

достиг середины. Дальше пришлось действовать вслепую, на ощупь. Тысячу раз пожалел добытчик, что не подшил резиной ичиги: кожаные подошвы обмылились, скользили на сучках.

Спасаясь от дыма, охотник прятал в распахнутый ворот лицо, попеременно грел коченеющие от снега пальцы и, перебарывая страх, который опять вселился в него, продолжал спускаться. «Да... в такую оказию попал впервые. Только бы не сорваться», — единственное желание владело им. И надо же! — охотник уже нащупал спасительный шест, как под рукой обломился сучок. Ичиг скользнул, шест полетел в сторону, а за ним, поджимая ноги, и сам добытчик. Тяжёлый потрясающий удар в спину на мгновение выбил из памяти.

Охотник прослушал себя: «Внутренности, кажется, на месте». Он попробовал подняться, но отбитое тело и ноги плохо слушались, надо было отлежаться.

«Ну, молодец, молодец! — охотник ласково погладил скулившего кобеля. — Давай-ка посмотрим, кого нам Хозяин послал».

Кряхтя, добытчик вывернул из-под спины соболя и удивился. Это была редкая особь, настоящий баргузинский кряж — высокая головка. Шелковистый с проседью, ворс отдавал чёрным сголуба отливом. Охотник дунул в мех, ворс распался воронкой. «Подпушь тоже тёмная — сквозной! — повернул животом. — Жёлтого галстука на шее нет, везде одинаков... Да-а, такого полуметрового красавца добывать не приходилось, вот отец удивится. Удача, Закат! Удача! На, помни малость». Кобель, злобно урча, потряс соболя, перекинул через голову и стал по нему кататься. Охотник знал: шкуру собака не испортит.

...Отойдя хребтом километра полтора, охотник оглянулся. На вершине Галанской гривы, разрывая в клочья тяжёлые сумерки, полыхала гигантская свеча. И сразу же в сердце вонзилась какая-то знобящая и неотвратимая укоризна — рад бы глаза отвести, а не в силах. «Прости меня, Хозяин, прости меня, тайга!» — взмолился охотник...

На Воздвижение

Под конец сентября с Байкала потянул стылый ветер с переходом на шквалистый, к вечеру хлестко загвоздил дождь, перейдя в мокрый снег, выбелил окоёмы прибрежных лесных озёр. Стаи северных гусей, прижатые непогодой, надрывным неумолчным гоготанием оглашали болото и, словно живые тени, падали на воду, сбивались к заветренной стороне.

Анатолий любил эту пору; как опытный страстный охотник, заранее сооружал скрадок на своём фамильном озерке, поджидал перелётную дичь. В послевоенные пятидесятые-шестидесятые годы на охотничьи ружья в органах МВД регистрация не велась и сейфов для их хранения не требовалось. Обычно в горницах они украшали трофейные рога изюбря или сохатого, воронёным блеском стволов напоминали о значимости их владельца, порождали неудержимое

любопытство у подростков. С четырнадцати лет по рекомендации старших выдавался охотничий билет. Первый памятный выстрел из дробового ружья Анатолий испытал в семь лет. Заряд был намного сильнее обычного, сосед подсунул, и Толя от выстрела под хохот старших ребят полетел в одну сторону, ружьё — в другую... Однако страх он переборол и уже к десяти годам имел личное ружьё — подарок отца. Патронов из чужих рук не брал, заряжал всегда сам. К семнадцати расстрелял полпуда пороха и на десять выстрелов девять уток брал с лёту. Так что утиной солонины семье хватало до весны. Последнее ружьё, на котором остановился охотник, было тульского производства, с инжекторами. После выстрела при переломе ружья автоматически выбрасывались гильзы, и Анатолий приноровился в верхний ствол ещё загонять патрон и отправлять заряд вдогон дичи. И всё-таки при его сноровке и азарте трёх выстрелов бывало недостаточно, особенно на гусиной охоте, и Анатолий решил приобрести пятизарядный автомат. Автомат стоил дорого — два месяца работать, и он упросил знакомого продавца попридержать ружьё до завтра, пока соберёт нужную сумму. Но к вечеру этого дня задурила непогода, и, гонимые ветром, заскрипели в небесах свою вечную тоску по родине первые вереницы гусей. Анатолий не стал дожидаться предрассветного часа, застегнул на поясе патронташ на двадцать четыре заряда, закинул на плечо испытанную переломку и, набросив на голову плащ-накидку, торопко зашагал из города в сторону родной деревни.

К полуночи Анатолий свернул с тракта, пошёл лесом, осторожно прощупывая поступью тропинку, которая змеилась к болоту. Сквозь стенания непогоды то и дело доносились гусиные окрики. При тупой видимости в бурю, чтобы не потерять друг друга, гуси непрерывно ведут переключку, невольно выдавая себя затаившемуся охотнику.

Наконец лес расступился, и Анатолий вышел на озерко к своему скрадку.

Снежный окоём воды и лунный отсвет, сочившийся сквозь рваные тучи, на фоне мглистого неба едва очерчивали безлистые гривы перелесков. Издали донеслись обрывки гусяного гогота. Охотник, затаив дыхание, напрягся и до боли в глазах стал вглядываться. Гогот то приближался, то отдалялся, и стало понятно: табун закружил. Когда гоготанье приблизилось, Анатолий, втягивая в гортань воздух, призывно закричал по-гусяному.

Переключка табуна усилилась. Охотник перевёл ружьё в исходное положение.

С правой стороны озерка, откуда нарастал гогот, над чертой перелеска тёмным пятном проступил силуэт первой птицы — вожака; за ним второй, третий; шестой замыкал вереницу. Как только гуси оказались напротив, Анатолий вскинул ружьё и ударил. Вожак оборвался камнем, остальные, судорожно замахав крыльями, зависли и плотно сгрудились.

Второй заряд выбил ещё двух, Анатолий молниеносно переломил ружьё, в верхний ствол загнал патрон, выстрелил вдогон. Четвёртый гусь завалился набок, послышался шлепок в болотных кочках. Звено из оставшихся двух живых, скорбно зарыдав, повернуло в сторону Байкала и, уносимое ветром, исчезло в темноте.

Сердце неужённо билось, охотник резко, с выдохом, сел на корточки, сгасил волнение, немного успокоился и лишь затем поднялся, чтобы идти за добычей. «А была бы у меня пятизарядка,— подумалось вдруг,— всех бы шестерых оставил!» При этой мысли чувство азартной радости сменилось раскаянием. «Да что я, с голоду подыхаю?!»— вдруг спросил себя Анатолий, а в ушах у него продолжало пронзительно звенеть скорбящее прощание пары, и если бы тогда он знал, что оно ещё долгие годы будет временами накатывать и преследовать его, вызывая грусть и раскаяние... Но теперь Анатолий при свете фонарика подобрал краснолапых гуменников, рядом разложил на скамье и стал поджидать следующих.

Следующим налетел табун казарок, охотник автоматически вскинул ружьё, но на спусковой крючок не нажал. Что-то сломалось в сознании Анатолия, и впервые, провожая взглядом кричащих гусей, он сказал про себя: «Летите!»— но так сказал, как будто кто-то нашептал ему это...

...Утром в родительской избе мать (которая всю жизнь, сколько помнил Анатолий, молилась по ночам, прося Господа о милости) сказала тихо, попеременно глядя то на сына, то на тяжёлые связки мёртвых гусей, которых Анатолий бросил в сенцах: «Толя, а ведь это грех. Сегодня большой праздник — день Воздвижения Честного Креста Господня».

Пятизарядный автомат Анатолий так и не купил.

Александр Новосельцев

Уроки литературы

Ирине и детям Маше, Насте, Вере

Никогда не думала, что человек за свою жизнь проживает не одну жизнь, или, правильнее сказать,— одну жизнь проживают как бы несколько человек. Вот ведь написала и запутала всё. Сама же и запутала. Но это с непривычки вести дневник. А надо бы. Когда-то вела. Сегодня стала искать свой старый дневник — и всё из-за Анютки. Но лучше по порядку, чтобы в себе сначала разобраться, остановиться и оглядеться. А с чего всё началось? Да с Анютино сочинения.

В прошлом году она писала сочинение, и ей за него ничего не поставили, а в четверти вывели тройку. Пришла моя Анюта из школы сама не своя.

— Я, — говорит, — писала, как мне сердце подсказывало.

— О чём?

— О войне. Да и не о войне даже, а вот про нас. Про то, что жили люди, а потом на войну ушли, а мы живём теперь потому, что на обелисках с их именами чёрточки стоят. А чёрточка — это их жизнь. Я и написала стихи. А теперь у меня тройка. И за что? За то, что я писала без плана, а как будто сердцем.

— Ты мне его дашь почитать?

— А его нет. Я его сожгла.

— Как сожгла? Зачем?

— Я тогда получила тетрадку обратно, а в ней оценки нет, а только написано: «Что это?»

Вижу, опять у нее слёзы.

— Она ведь, — говорит, — Александра Андреевна наша, ничего не поняла. Дура я, дура! И зачем мне надо было писать, что у меня на душе? Лучше бы я, как все, про Чацкого списала с учебника! Ей ведь, мама, моя душа не нужна, она по учебнику нам всё рассказывает, ей надо, чтобы и все так думали!

Вот и в этот раз история повторяется.

— Анют, — говорю, — ты чего такая ходишь?

Та отмалчивается, но на глаза, вижу, слёзы наворачиваются. Её чтобы до такого довести — не знаю, что нужно сделать. Походила она так и у себя в комнате села. Молчком. А как на улицу выходила, вижу, у неё в горле комок стоит, выговорить ничего не может. Взяла я её за руку, рядышком посадила да по голове глажу. Как маленькую.

— Анют, что случилось, расскажи. Если что стóящее — вместе поплачем, а нет — так обе посмеёмся.

Она сначала заартачилась, а потом в грудь мне уткнулась, да комок этот у неё в горле оттаивать начал. Как оттаял да слезами растопился, она мне и открылась, в чём дело.

— Я, — говорит, — сочинение написать не могу.

— Да ты ж писала сидела!

— Да, сидела и уж почти написала. Кое-какие выписки сделать осталось.

— А ну-ка носи его сюда.

Приносит мне Нюрка тетрадку и книжку «Онегина». Тетрадка чуть не вся, от обложки до обложки, карандашом исписана. Даёт мне и говорит:

— Вот тут у меня цифры стоят. Один, два, а вот тут — три. Это места, которые будут из книжки. Там тоже отчёркнуто и цифры проставлены. Понятно?

Чего ж тут, думаю, непонятного? Я хотела сразу сказать ей: зачем, мол, списывать и чужой головой жить? — но промолчала и подумала, что правильно будет сначала прочитать написанное, чтобы знать, как она рассуждает, а не начинать воспитывать её сразу, прямо со слов: «А ты знаешь, так ведь не пишут сочинения, переписывая целые куски чужих мыслей, а думают сами».

Не стала я ей ничего говорить. Пошла она дать скотине, а потом в школу пошла. Открыла я тетрадку, и сразу вся картина мне ясной стала. Вижу, что сочинение не получилось. Даже криминалистом для этого не надо быть: каждое предложение написано как отдельный абзац, и каждый написан своим почерком. В одном буквы ровно стоят, в другом — с наклоном, в третьем спотыкаются или валяются в разные стороны. Ясно одно, что сочинение никакой единой мыслью не соединено, всё случайно и откуда-то нахватаано. Онегин ненавистен потому, что уезжал за рубеж, а жалок оттого, что явился каяться Татьяне. А сама Татьяна выражала собой всех женщин того времени, бесправных жертв грядущего капиталистического строя России. Просто сердце заболело от жалости к бесправной Татьяне. Прочла её сочинение, поглядела на вступительную статью в книге «Евгений Онегин», она чуть не четверть всей книги занимает. Поглядела отчёркнутые Анюткой карандашом места для сочинения.

Я в тот день на работу пойти не смогла. Набрала воды и только ведро приподняла, как мне в поясницу вступило. Стою — ни охнуть, ни вздохнуть. Спасибо, Захаровна выглянула, донесла мне ведро до дома и меня довела. Уложила на кровать и полено под спину подсунула. — Лежи, — говорит, — выправляй позвоночник, полено точно поможет.

Кое-как, с болью, улеглась, лежу. Лежу, делать ничего не могу. Прочитала Анюткино сочинение про Татьяну, перечла «Онегина»... Потом вязать взялась, да бросила — всё равно в пояснице отдаётся

так, что терпеть не могу. Лежу. Только и всего. Вот, думаю, сроду у меня времени лежать не было. Тут ещё и скотина. Хорошо, Нюрка из школы придёт — управится. Лежу, сучки в потолке рассматриваю. Они мне знакомы с детства, только когда у меня потом было время их рассматривать? Вспоминаю их, а у самой слёзы. Не от боли, нет. Да что же я такая несчастливая? За что же мне доля-то такая? Тридцать седьмой год — вот и весь мой бабий век. Одна и одна. Лежу. Часы на стенке как хромые идут, на одну ногу припадают. Если бы не Анютка, истратилась бы я вся по нём, иссохлась. Где он теперь? Неужто из-за него, из-за Гены, вся жизнь моя наперекосяк пошла? Несчастивица, безмужняя, недоучка деревенская... Лежу, себя ругаю, в голос реву. Дай, думаю, хоть раз в жизни выплачусь. За всю свою разнесчастную жизнь. В детстве, бывало, наплачешься и спишь лучше. Вот и я выплакалась, успокоилась. И вся моя жизнь — вот она, как перед глазами. Отчего же, думаю, я такая разнесчастливая? Откуда ниточка к моему клубочку горемычному тянется?

Плохо училась? Нет. Мне ещё повезло: и колхоз у нас в Луговой был, и ребяташки тогда ещё были, и начальная школа была. Я хоть четыре года, пока маленькая была, считай, дома училась. А Нюрка моя так все девять лет в Берёзовку три километра одна ходит. Упорная. В кого? Не в меня — точно. Где мне? Институт бросила. Зачем? Живу среди шести стариковских дворов. Умирает деревенька моя милая. Ни школы, ни магазина, ни детей. Нюрка — и та одна на всю деревню. Милая ты моя, родная моя Нюрка-Анютка, неужто и тебе, как и мне, горе мыкать?.. Но и не в него она — это точно. А уж и его стала забывать. Ой, нет, чего ж себе-то врёшь, милая моя? Всё ведь помнишь, да тем и живёшь. Все те три года. Три года и одна ночь... Было, было. А чего ж было-то?

Лето, стройотряд. Я после первого, он после третьего курса, комиссаром стройотряда. Я его как увидела, сердце под самое горло поднялось, да так все три года на место и не вернулось. Весёлый, красивый. Вечером после работы собирались у школы, где мы жили, жгли костёр. Он на гитаре играл и потихоньку пел. Одну песню и сейчас помню. Он её, кажется, сам сочинил:

Город спит в зелёном свете,
По аллеям бродит ночь,
От реки прохладный ветер
Думы ясные несёт.
Может, это мне всё снится?
Может, это всё пройдёт?
Только слёзы на ресницах,
Словно в сердце тает лёд...

Так три года и проходила за ним, как тень, по коридорам института.

Разве мог он тогда заметить меня? Он... и я. Дурнушка деревенская, и рост маленький. Он всегда был на виду, комсорг факультета. Я, как тень, ходила за ним, тоже просила поручения от него, сама глаза прятала, а он, я это заметила, видел только свою однокурсницу Лену, худую и не столько высокую, сколько высокомерную. Перед его выпускным вечером ночь не спала, чуть не криком кричала в общезитии: что же мне делать? Ведь люблю его, слепого, сил нет никаких. Вот и написала ему. Письмо... Наутро стояла в институте у лестницы, во все глаза глядела, его пропустить боялась. А когда увидела его, ослабела вся, спряталась за колонну. Он зашёл в аудиторию, а я набралась сил, и когда он вышел и пошёл мимо, я протянула руку:

— Гена... Можно тебя?

Он крикнул кому-то, кажется, это Лена и была:

— Подожди, я сейчас! — и ко мне подходит: — Что тебе?

Он всегда был такой: внешне внимательный. И вообще, как говорится, «человек без недостатков». Стоял, такой внимательный, а я держала в руке своё письмо, совсем ничего не соображала от сковавшего меня страха и говорила:

— Гена, я благодарна тебе за то, что ты есть... что я училась рядом с тобой... Я никогда не забуду твоей доброты.

Господи! — что я говорила?! Какой доброты? И неужели он тогда не понимал, что я хотела сказать? И это было так страшно! А в руках всё время мяла своё письмо. А слова почему-то получались сухие, и их, казалось, стоило только поджечь, чтобы они загорелись и спалили меня всю. Снизу ему кричали:

— Гена, ну ты скоро?

Но он только крикнул рассеянно своей Лене:

— Иду, иду!

Он дослушал меня, взял мою ледяную дрожащую ладонь и сказал:

— Спасибо тебе, Гурова, за тёплые слова. Мне очень приятно.

И что-то ещё в этом роде. А потом как-то виновато, но с достоинством пошёл. Я осталась стоять и услышала с нижней площадки голос Лены:

— Суханов. Ты так серьёзно разговариваешь с девушками. Будь попроще, тебе это не идёт.

И какой-то оправдывающийся голос Гены:

— Да ничего особенного. Несколько слов по делу. Нельзя, что ли?

— Вообще-то, Суханов, я всегда подозревала, что ты какой-то слишком правильный. Похоже, тебя ждёт большая карьера. Тебе следует...

Они ушли, и я не услышала, что ему следует. Стояла и рвала своё письмо. Рвала мелко-мелко, пока оно рвалось, и так и ходила весь день как в кошмарном сне, держала в руке эти клочки. К вечеру поняла: надо домой, только домой. К маме в деревню, только здесь моё спасение.

Бросила, не смогла больше видеть стены институтские, где всё о нём напоминало. Сама себя утешила, что бросила только потому, что мать больная была, да и бабушка тогда уже едва ходила. А уж как она меня ругала!

— Видано ли дело — все в город, а она из города. Я для тебя всё сделаю — учишься только, не будет в деревне никакой жизни, уезжай в город, восстановись.

Видела, что рвёт она себе сердце. Оттого, что рядом дочь родная, — было ей легче, теплее, но знала она, что не будет мне здесь никакой жизни. Утешала её, что уеду, ей вот только помогу.

Вот они, эти три года. Потом был год дома, в Луговой. Лето, осень, зима. И рана вроде бы на сердце затягиваться стала. Иногда ныла, растревоженная случайными известиями о нём. Узнала, что появился у нас в райкоме молодой инструктор Суханов, что он женился на этой Лене. Весной мама говорит:

— Солнышко повыше — и мне получше. Давай-ка, дочка, картошку посадить поможешь да езжай себе в институт. Учишься дальше.

Я и собралась было. Конец мая был тёплый, совсем уж лето. А в начале июня, в первые покосы, поднялся ветер, нагнал среди ясного дня чёрную тучу, и такой ливень пошёл, что темно стало, как в поздний вечер. А потом ударила молния, как огромная огненная ветка, и попала прямо в старую ветлу, стоящую возле нашего дома. Развалила её ветви-рассохи и сожгла в ней всю сердцевину, а кора и луб от неё валялись даже на крыше нашего дома. Одна из ветвей придавила сарай. Он и без того старый, покосился, а тут вдобавок этот сук. Ещё и наутро ветла дымилась. Боялись, что сарай загорится, а за ним и дом, водой заливали. Вечер другого дня был тихим, тёплым. Природа будто винилась за вчерашнее. Дым прекратился. Помню, забралась я с пилой на ветлу. Пилую сук. Он полусгнивший, на нём редкая белёсая листва, кора трухлявая, как кожа у старой черепахи. Пилить нетрудно, но с непривычки раскраснелась, волосы из-под косынки выбились. Допилила до половины, остановилась волосы поправить, оборачиваюсь... и глазам своим не верю: идёт по дороге Гена. Весёлый, портфельчиком размахивает. Я так и обмерла. А он к ветле подходит, портфель на траву поставил, снизу на меня смотрит: — Ну что, грубая мужская сила не нужна? — и руки мне протягивает.

Принял он меня на руки и придержал... А глаза его прямо перед моими, весёлые, дерзкие, сердце обжигают. Пиджак на портфель положил, забрался на ветлу и в три минуты, играючи, сук этот перепилил. — Остальное потом, — говорит.

Пока пилил, рассказал, что приезжал в Берёзовку, перевыборное собрание проводил. Решил прогуляться да заодно посмотреть, как дела у нас в Луговой. А ночевать будет в нашей школе, ему завуч и ключ дала.

— Школа-то где? Не проводишь? — спрашивает.

— А вон она, — показываю ему, а у самой в ушах шум стоит.

Пока шли до школы, я всё молчала, а он мне рассказывал, что женился на той своей Лене, но живут — так себе, плохо, и дело идёт к разводу. Довела я его до школы и назад пошла. Иду, сама думаю: что же я-то ничего ему не рассказала, что только тем и жила, что о нём думала, что он самый лучший на свете? Иду, ругаю себя и плачу. Едва дождалась, пока мама уснёт. Вышла потихоньку, на скамейку у калитки села. Сижу, ничего не слышу, только сердце стучит, так стучит, что боюсь — маму разбудит. Вижу — от школы огонёк движется, всё ближе и ближе ко мне. Вот и он подошёл, сигарету бросил, меня за плечи взял.

— Ждала меня? — спрашивает.

А что тут говорить? Кивнула я, голову опустила.

— Всю жизнь свою ждала, — мне уж и открываться перед ним не надо было: вот она я, вся перед тобой, какая есть, да и другого мне никого не надо. — Сам видишь.

Что за ночь была! От сена прятая, от любви пьяная...

Утром я носила воду, всё глядела, дожидалась его, боялась пропустить: не зайдёт ли, когда будет уходить в Берёзовку? Он ехал на телеге с Михаилом — тот в Берёзовку за хлебом ездил. Думала, остановится, попрощается. Так и вижу как сейчас: он сидит спиной ко мне, угощает Михаила куревом. Тот увидел меня, сначала махнул рукой и засмеялся, а потом сказал что-то Гене, и оба они рассмеялись. Меня словно ножом по сердцу полоснуло... Он так и не обернулся... Нет, конечно, не надо мной они смеялись, не мог он ничего тогда сказать, не мог. Не мог! И на меня он не смотрел, чтобы никто ничего не подумал. Но ведь подумали же! И говорили потом. Господи, сколько же я тогда пережила! Потом Нюрка моя родилась, радость моя. Нет, не в него Нюрка моя упрямая. Он не упрямый был. Где-то теперь в Москве; как пошёл по своей общественной линии, так, наверное, большим человеком стал. А я...

Вот прочитала снова «Онегина» и столько, кажется, поняла. И про себя тоже. «Он сердцем милый был невежда», — это ж про меня, глупую и доверчивую.

Нет, думаю, не одна же я. Нюрка у меня есть, Анютка моя... А он... Э-эх...

Дождалась я, когда Нюрка моя из школы вернулась. В избу зашла, на меня смотрит: прочла или нет?

— Анют, — спрашиваю, а сама уже знаю ответ на свой вопрос, — откуда у тебя этот «буржуазный беспредел к женщине»?

— Да вот же, мама, — говорит, в голосе укор: мол, чего ж тут непонятно? — и в книгу показывает.

Смотрю я на неё — взгляд у неё такой же укоризненный, как и голос. — Нюр... — говорю ей.

Гляжу на неё и думаю: неужели ты тоже так по-казённому думаешь?
— У тебя тема какая? Ты сама-то Татьяну любишь?

— Люблю, — моя Нюрка говорит. Тихо, но в душе убеждённая в этой своей любви.

— Вижу, — говорю, — что любишь. Это в душе. А вот как дошло до слов, то вижу, что не понимаешь, как её выразить.

Пятнадцать лет моей Анютке. Возраст такой: то хлеб в магазине не хочет покупать, я думала — может, ленится, а потом поняла — стесняется, а то ни с того ни с сего ответит грубо. Да и в школе, когда концерт к празднику ставят, она и поёт одна, и танцует. Не боится. Я-то сроду бы на сцену не вышла.

— Так за что ты Татьяну любишь?

— Ну, она... как пример.

— Пример чего?

— Ну, она письмо написала... признание.

— А потом отказала?

— Да...

— И всё?

Стоит, молчит.

— А ведь и дельные мысли у тебя в сочинении есть.

— Где? — подходит ближе, заглядывает в тетрадку.

— А вот: «Стихия Татьяны — народная». Значит, ты Татьяну противопоставляешь Онегину. Так?

Вижу, мнётся. Она-то мнётся, а я вдруг сама понимаю, что и мне самой что-то открывается, о чём раньше не думала; я аж с полена встала, о боли забыла.

— Ну конечно! Ты же здесь не зря отрывок приводишь, где Татьяна ходит по кабинету Онегина, в котором вещи сами говорят за хозяйна. И книги, и дух этого Чайльд-Гарольда — это же мода! Видишь, какая последняя строчка в этом эпизоде: «Уж не пародия ли он?» Это ж не Пушкин говорит, а сама Татьяна это поняла. Он же, Онегин этот, — жалкий подражатель всей западной моде. А Татьяна вся как на ладошке, в ней же, как ты пишешь, «народная стихия». Эта её искренность, открытость никому не даёт повода посмеяться или упрекнуть её за то, что она сама открывается в письме Онегину. Сама! Разве только дураку последнему. Дураки только и посмеются. Она же живая, а Онегин — нет. Он подражатель. Ну, как, например, сегодня вся наша эстрада подражательна, пытается копировать западные голоса, за ними тянется, копирует. Мысли-то у них какие: «Вот мы уже как они можем». Но ты подумай: ни одна копия не может быть интересней подлинника, потому за рубежом наша подражательная эстрада никого не интересует. Их интересует только подлинное, их наша народная музыка интересует. Ты-то как сама думаешь?

Кивает головой, глаза оживились.

— И что ты ещё из книжки включить собиралась?

— А вот послушай, — и прочитала, что будущее Татьяны в буржуазном обществе определено и её постигнет участь быть как все...

— погоди, Анют! — я прямо чуть не кричу. — Подожди! Что за ерунда такая — «как все»? Анют, она ж никогда не будет «как все», никогда! Она же в жизни совершила два таких поступка, которые до неё, наверное, никто не совершал и не переживал. Ты поняла, что это за поступки?

— Ну... письмо. Призналась в нём.

— А потом?

— Потом разговор с Онегиным. Когда он... В общем, он отказывает ей.

— Да он же... он же любит себя! Красуется, мораль ей читает. Ей! Татьяне! А потом? Потом-то что?

— Мам, чего ты переживаешь так? Ты лежи... Потом она... Уже потом говорит: я другому отдана, буду век ему верна.

И правда, чего я так разволновалась? Успокаиваюсь, головой ей киваю. Легла опять, Нюрка на меня смотрит, за мою спину волнуется. Спина-то заживет, а вот насчёт Татьяны...

— Анют...

— Чего?

— Так она его любит?

Нюрка смотрит на меня, кивает:

— Кто, Татьяна? Угу.

— Конечно же, любит. «Люблю, — говорит, — к чему лукавить?» Она же всегда остаётся собой, Таня наша. Не мстит Онегину, а говорит сущую правду, что будет верна мужу. Каково ей это говорить — ведь она же его любит! А?! Анют, ты просто представь себя на её месте. Девушке пойти на такой шаг... Ты в жизни-то представь себе это. Сколько же она, бедная, пережила! Да человек, который такое пережил, разве он может стать «как все»? Ты посмотри, что ещё они тут понаписали! «Татьяна — раба феодально-монархического общества и её холопка», «этой женщине суждено прожить в несчастном браке долгие годы и смахнуть слезинку с поблёкших ланит». Ох и Господи! Да она всю жизнь будет потом этими двумя случаями жить-переживать, её уже ничто не сломит, Танюшу нашу! Это же личность. Поняла?

Глаза у Анютки загорелись, и она только кивнула, тетрадку у меня выхватила и убежала.

— Ладно тебе сейчас-то писать, Анют! Поздно уже, ложись!

Нет, вижу, у неё свет из-за двери. Пишет. Смотрю, а книжка «Онегина» на кровати у меня так и лежит.

— Анют, а ты книгу-то чего оставила? Выписки делать.

— Не надо... — отвечает. Голос занятой. Пишет.

Открыла книжку наугад. Читаешь — как будто воздухом свежим дышишь, не надыхишься. Легко как и просто. «Потом хозяйством занялась, привыкла и довольна стала». А ведь я у неё же, у Александры Андреевны, то же самое сочинение писала! Только тогда он

был далёкий какой-то, Онегин этот, как с Луны, а теперь вроде всё понятно и близко, как из своей же жизни. А где-то, кажется, в первой главе, был портрет Евгения... Да, вот, в десятом стихе. И не Евгений это, а Гена. Вылитый. Они оба в министры выбьются, если только не поленятся. Им всё в руки идёт. Всё, кроме счастья. Не такими они, голубчики, родились. Нету в них... Чего же в них нету? Чего-чего — любви и нету. К людям. А к себе — пожалуйста. Сами только себе в этом никогда в жизни не признаются.

Не прошло и часа, Анютка быстро подходит ко мне, кладёт раскрытую тетрадку с сияющим видом.

— Что, уже исправила?

Смущённо-радостно машет головой: нет.

— Что? Неужели заново написала?

Кивает: да.

Строчки в тетрадке ровные, быстрые, без исправлений. Ну что ж, какая теперь будет оценка — неважно. Отрываюсь от тетрадки — Анютка на меня смотрит.

— Ты чего?

— Мам, а ты счастливая?

Я отложила тетрадку:

— А то нет! Иди, я тебя обниму... — обняла её. — Счастливые же мы с тобой, Нюр? А? Ну иди спи. Я проверю, завтра поговорим, тогда и перепишешь набело.

Анютка ушла спать, а я лампочку поближе подвинула и опять взялась за тетрадку. Открыла — и не пойму: было карандашом написано, а это — ручкой. Пролистала тетрадку и поняла: с обратной её стороны был черновик другого сочинения, написанного раньше. Назывался он «Герои в жизни и в литературе». Слово «герои» было исправлено на слово «правда». Получалось: «Правда в жизни и в литературе». Что-то про это сочинение она мне ничего не говорила. Ну что ж, думаю, проверю и его. С него и начала.

«Уважаемая Александра Андреевна!»

Нет, это, наверное, не сочинение, а письмо. А тогда почему с названием? Так... ладно. Дальше.

«Девять лет Вы учили нас: дети, говорите только правду, — и привели в пример Чацкого, который в глаза говорил правду всему фамусовскому обществу, несмотря на то, что это было чревато для него неприятными последствиями. А ещё привели в пример поговорку: „Кто всегда говорит правду, тому память не нужна“. Я с этим согласна. Но выясняется, что и правда хорошо, но и память нужна тоже. Буду говорить, вернее, писать правду и сочинение своё, пользуясь свободной темой, назову „Правда в жизни и в литературе“.

Но сначала немного памяти, точнее — воспоминаний. Само слово „воспоминание“ предлагает задуматься о чём-то далёком. Вы скажете: о чём можно вспоминать, когда тебе всего пятнадцать лет? Но я

подумала и вспомнила, как год назад я уже писала сочинение на свободную тему и выбрала такую: „Памяти павших“. Помните ли его Вы?

Стоял май, зелёный от юных листьев и белый от цветущих садов. Помню, я сидела за столом, чуть прикусывала ручку (у меня такая привычка — ручку прикусывать, когда думаю) и глядела за окно, в наш сад. Из него веяло свежестью и сладким запахом цветущих яблонь. Небо было всё в тучах, с утра ещё пробежал быстрый дождик, но в ту минуту, когда я сидела и думала, о чём бы написать, вдруг светлый лучик прорвался между туч, и мне даже показалось, что он со звоном упал на стену нашей комнаты. И я увидела, как жёлтый маятник часов качался на своих маленьких качелях, слепя меня отражением солнца, а рядом — фотографии в большой общей раме. Там их несколько, в основном прабабушки и прадедушки. Эта рамка всё время висела на этой стене, с тех пор как я себя помню, но я как-то мало обращала на них внимания. А теперь луч света как бы позвал меня: подойди, посмотри. И я стала рассматривать их. Бабушка, прабабушка — их я помню. Прадедушка в солдатской форме — его я не знала совсем, он на войне погиб. Я всматривалась в их лица в пилотках и фуражках — совсем молодые — и удивлялась тому, что и дедушка был похож на своего папу, только без усов. И я подумала, что как это хорошо, что дети похожи на своих родителей, они как бы продолжают их — хорошо бы, если в самых лучших своих чертах. Прабабушка Аня, когда она ещё была жива, я была совсем маленькой, но хорошо запомнила, как она сказала, что мой дед — вылитый прадедушка. Она всё смотрела на их фотографии, а сама вытирала слёзы.

Прабабушка, оказывается, в первый раз вышла замуж, когда ей было, как и мне сейчас, пятнадцать лет, а её мужа Сергея на другой день забрали на войну. Тогда ещё шла Первая мировая война, и его в первом же бою убили. А прадедушка мой, Алексей, прошёл и Первую мировую, и Гражданскую войну, и женился на бабушке Анне, и у них было одиннадцать детей, но выжило только шестеро — и все сыновья. Голод был сильный, рассказывала прабабушка, потом прадедушка был в тюрьме, и она одна воспитывала их. И ещё она рассказывала, как судьба сжалилась над моим дедушкой. Ведь у прабабушки каждый второй ребёнок умирал. Так и говорила: один родится — выживет, другой родится — помрёт, прямо через одного. Когда мой дедушка родился, был его черёд умирать. Но он не умер, а только одна ножка у него не сгибалась в колене, и его на фронт не взяли. Двое младших дедушкиных братьев не воевали, были ещё молодые, а двое старших — погибли на войне, да ещё один пришёл раненый и от ран умер, дедушка Костя. А прадедушку тоже убили, хоть он и был уже пожилой, и его сначала брат на фронт не хотели, но потом всё же взяли. И вот когда всмотрелась я в их лица на тех старых фотографиях на стене, то отчего-то захотелось мне побывать у обелиска в нашем селе. И я пошла к нашему памятнику.

Памятник наш видно издалека. Сам он маленький, чуть выше меня, да ещё звёздочка красная над ним из железа. Этот памятник и оградку каждый год к майским праздникам подкрашивают. А видно его издалека, потому что стоит он на самом высоком месте, и растут возле памятника берёзки. Их семь штук, и все они высокие и плакучие, их веточки к земле клонятся низко-низко и тихо-тихо шелестят на ветру. Их корни срослись с памятником. Четырём из них уже почти шестьдесят лет, их посадила прабабушка, трём — сорок, их посадила бабушка, и они только чуть тоньше, но ростом своим уже догнали те, первые. А ещё вокруг ограды густая шапка сирени. Её сажала моя мама. И вот эти берёзки и эту сирень видно издалека, когда ещё только подъезжаешь к нашему селу.

Я стояла и думала о том, что имён на памятнике много, а фамилий только пять, это все наши односельчане: Моховы, Гуровы, Сальневы, Черных, Атамановы. Моя родня — это Гуровы: Гуров Алексей Андреевич, 1896–1943, мой прадедушка, и его сыновья Константин Алексеевич, 1920–1945, Николай Алексеевич, 1922–1941, Иван Алексеевич, 1924–1942.

И ещё другие шестеро Гуровых из нашей родни. Список большой, сорок две фамилии. Я стояла, шурясь от яркого майского солнца, и смотрела на бронзовые буквы. Смотришь на них, и кажется, что это стихи написаны бронзой по камню. И всё хотела представить, какими они были. А когда глядела на годы их рождения и гибели, вдруг поняла, что их соединяет лишь маленькая чёрточка. Оказывается, в этой маленькой чёрточке уместилась вся их жизнь, которую я совсем не знаю. У меня тогда поплыло всё перед глазами, когда я поняла, что живу лишь потому, что жили они, и сколько совсем маленьких событий, случаев вели к тому, чтобы был вот этот майский день, и светило солнце, и тихо качали ветками берёзки, и стояла Я.

И ещё вот что поняла и представила. Где-то там, далеко, сто лет назад летела пуля, убившая первого мужа прабабушки Анны, потом с войны скакал на коне дедушка Алексей, потом на покосе он встретил бабушку... И много ещё я думала об их жизни, которую нельзя уместить в маленькой чёрточке, выбитой на камне, на котором снизу написано: „Никто не забыт, ничто не забыто“. И я тогда побежала домой, и у меня в голове уже звучали какие-то строчки стихов про эти чёрточки-жизни.

Дома я только-только успела записать эти строчки, так похожие на выбитые на камне. Через день получила тетрадь обратно. Сердце моё билось сильно-сильно. Я раскрыла тетрадь. Внизу под моими стихами Вашей красной ручкой было написано: „Что это?“ — и больше ничего. Помню, как мне было стыдно. Мне никогда не было так стыдно, как в ту минуту.

Ту тетрадь с сочинением я сожгла...

Долго мучилась потом, думала о тех сожжённых строчках, пока не поняла, что мне стыдно не за себя. Правда, от этого мне легче не

становилось. Ни Вы, ни я никогда не говорили об этом моём сочинении; наверное, Вам тоже было стыдно. Можно, я задам Вам тот же вопрос: что это?

Гурова Аня, 9 „б“ Берёзовской средней школы».

Я отложила тетрадку. Хотела кликнуть Анютку, чтобы спросить её. О чём?.. потушила лампу. Света из-за двери видно не было, она спала. В тишине хромали часы на стенке, негромко дребезжал за печкой вечный сверчок, пообвыкшиеся со света к темноте глаза стали привыкать к лунному свету, различать сначала бок печи, потом часы, иконы в углу, а потом и лица на фотографиях. Мама с отцом, дед, Анютка маленькая. Смотрела на всё это родное, а сама думала: сдала Анютка это сочинение или нет, и какую ей Александра Андреевна оценку поставила? И поняла, что та оценка, которую она поставила бы за него, она поставила бы самой себе.

Александр Щербаков

К слову сказать...

Из рассказов-воспоминаний

КАК ВАТНИК СТЕРВАТНИКУ

В недобрую моду нынче вошло это словечко — «ватник». Оно, похоже, явилось если не на смену, то в продолжение и в поддержку подленькому словцу «совок», которым клеймили всех, кто не отрекся от нашего недавнего прошлого. Не чурался его, не предавал завещанных им не худших традиций — человеческой солидарности и взаимопомощи, добывания хлеба насущного честным трудом, естественной сыновней любви к своей земле, стране, к своему народу, его языку и культуре. Но хлёткое словцо это с годами обветшало и стёрлось, потеряло ядовитую остроту. И вот всплыло другое, наполненное свежим, более язвительным ядом, по крайней мере, на взгляд его творцов и эпигонов. Они стали метить им уже не одних носителей «родовых пятен» советского уклада, но вообще всех приверженцев русской цивилизации как некую серую невежественную массу, цепляющуюся за своё убогое наследие в быту, одежде, поведении, морали. И «ватник» этот слетает с языка не только доморощенных «внутренних эмигрантов», патологических антисоветчиков, но и слышится из уст русоненавистников всех мастей закордонного разлива, даже включая недавних братьев украинцев, ныне слепо рвущихся в «Эйропу», и некоторых белорусов, вроде новоявленной нобелиатки-писательницы, а по сути — продажной графоманки Алексиевич.

Между прочим, именно откровения этой последней переполнило, как говорится, чашу моего терпения. Прочитав выдержки из её нобелевской речи, из интервью и встретив там пресловутого «ватника», брошенного в лицо всем нам, я почему-то особенно возмутился. Горько и обидно стало уже за само слово «ватник», невинно превращённое недоумками в какой-то жупел. Мне вдруг захотелось защитить его и, конечно, тот подлинный предмет, который оно означает в прямом, не извращённом смысле. Не знаю, как воспринимались и воспринимаются они в «элитных» кругах, но среди трудового народа, особенно деревенского, к которому я имею честь принадлежать по своим корням, всегда были вполне уважаемыми и слово это, и стоящая за ним верхняя одежда, весьма удобная и почти незаменимая в обиходе.

Могу утверждать, что большинство из нас, рабоче-крестьянских детей, выросло в этих ватниках, чаще, правда, называемых фуфайками,

а то и «куфайками», с поправкой на местные говоры. И представьте себе, мы нисколько не чувствовали себя какими-то ущербными или обиженными судьбой. Фуфайка была для нас естественной одежиной наряду, положим, с русской шапкой-ушанкой или валенками. И носили её вовсе не от бедности или деревенской дремучести, а в силу того, что она была самой подходящей в наших резко континентальных палестинах, одновременно тёплой и лёгкой, ноской и вполне приличной на вид. Да-да, аккуратной, ловко сидящей и по-своему красивой.

Ну, может, кому-то казались мрачно-монотонными увиденные ими в поле, в лесу, на стройке запылённые либо мазутные фуфайки, сшитые по фабричному стандарту: прямые, безворотые, с двумя карманами и узким хлястиком. Так это — вопросы к бесталанным модельерам рабочей одежды, лишённым эстетического вкуса и не уважающим трудового человека.

Настоящие же фуфайки ручной работы, штучные, которые носили мы и наши родители, выглядели куда разнообразнее и привлекательнее. Ведь что такое, собственно, фуфайка? Или ватник, если вам так больше нравится? Это куртка на вате, стёганая в полоску. Поскольку у меня мать была портнихой, то мне доводилось не однажды наблюдать весь процесс рождения фуфайки, начиная со стёжки. Выкроив спину, полы и рукава будущей фуфайки, мать ровным слоем простилила вату между лоскутами верха и подклада. Потом осторожно подводила их под иглу швейной машинки и начинала строчить продольные швы так, что валики меж ними получались совершенно одинаковыми, один к одному, как на свежей пахоте. Далее следовали обшлага, воротничок, хлястик, петельки...

И если такой ватник шит по фигуре, приемлем по длине и в меру притален, то чем он, скажите мне, хуже нынешних пуховиков, зачастую неуклюжих, нелепо вздутой толщины, набитых неким искусственным «пухом», скорее напоминающим стекловату? Да ведь и верхняя, и подкладная материя тоже ныне синтетическая, «стеклянная», тогда как в нормальной русской фуфайке она традиционно хлопчатобумажная, прочная и приятная для тела. Нет у нашей фуфайки башлыка-капюшона? Ну так пришейте согласно нынешней моде — и все дела. А если ещё оторочите его мехом, то получите форменную (фирменную!) аляску. Вместо пуговок-петелек, ставших устаревшими, думается, нетрудно будет вшить «для куража» дюжину застёжек-молний и липучек.

Да вообще-то эти теперешние пуховики-дутьши, преимущественно закордонного пошива, и есть не что иное, как модернизированные русские фуфайки, или ватники. Не без влияния моды и рекламы в них теперь оделись почти сплошь и горожане, и селяне. Но почему-то никто не дразнит их «пуховиками», а тычут в нос именно «ватника». К слову сказать, мудрый народ наш не шибко и обижается на это, чаще всего воспринимает со здоровой иронией.

Как-то пригласили меня в родное Таскино на праздник. Он был посвящён старожилам села, ветеранам труда. И вот, подходя к нашему Дому культуры, столкнулся я у крылечка с давнишним знакомым Иваном Григорьевым, мастеровым мужиком, который в былые годы шорничал и столярничал в бригадной конюховке. Посасывая папироску, Иван подал мне руку с таким видом, будто мы виделись только вчера. Да и одет он был примерно так же, как сорок лет назад: шапка «ушки на макушке», кожаные сапоги гармошкой, стёганая фуфайка. В короткой беседе я свойски заметил ему, что, мол, ради праздника-то мог бы, не прибедняясь, надеть и что-нибудь поцивильнее. Иван в ответ хитро подмигнул и подтянул к моим глазам воротник ватничка: «Фирма́, брат, коттон сто процентов!»

Он, понятно, пошутил, никаких «лэйблов» на его фуфайке не было, хотя она действительно на все сто состояла из чистейшего хлопка, само английское название которого ныне звучит с рекламным оттенком, да и смотрелась вполне достойно.

Словом, Иван срезал меня, как говорится. И мне припомнилось неволью, что я уже однажды чуть не погрешил против этой любимой народом одёжины, не опорочил её, поддавшись общему критиканству в адрес всего нашего, традиционного, глумлению с привкусом не только антисоветчины, но и скрытой русофобии. Дело было ещё накануне перестроечных времён. Недовольство всем и вся только начинало нагнетаться с трибун, с медийных страниц и экранов. И я тоже написал и опубликовал в печати статейку «Косой забор», в которой глубокомысленно (на мелком месте) попытался порассуждать о нашем не то нехотении, не то неумении облагораживать свой быт, как это якобы повсюду делается «за бугром» и за морем. И, в частности, осудил своих сибирских селян за «косые заборы» вокруг дворов, за хлипкие пряслица и щербатые тыны, огибающие огороды и палисады.

Публикация получила большой резонанс. Было много писем и телефонных звонков. Однако не только похвальных. Некоторые читатели обвиняли меня в том самом критиканстве, в неуважении к людям, в очернении окружающей действительности. А один стихийный славянофил из глубинки, помнится, терпеливо объяснял, что «косые заборы» — вовсе не следствие лени или разгильдяйства нашего народа, а показатель его особого мирозерцания — космизма, при котором главные помыслы обращены к Небу, к вечности, а всякие преходящие мелочи на бренной земле, вроде косозабория, его мало тревожат. Доводы самородного философа показали мне вескими и небезосновательными. Они побудили меня по-новому взглянуть на многое в нашей жизни. В том числе и на традиционную одежду, на те же фуфайки.

Прежде того письма я собирался вслед за «Косым забором» выдать статью про них под ироничным заглавием «Эта вечная куфайка», чтобы, значит, выставить на посмешище всю серость и невзрачность

злосчастных ватников, которые унижают-де достоинство нашего «гегемона», свободного человека труда. И даже набросал вчерне начало задуманного «эссе», этакий сюжетец со смачной картинкой, хранившейся в памяти. О том, как мчал я однажды на своём соборовском «уазике» к югу края, в родные минусинско-каратузские места. Дело было поздней осенью. Погода хмурилась. Дул холодный ветер, густо летел мокрый снег. И вдруг на подъезде к степному селу Троицкому в этой снежной круговерти обозначилась фигура огромного мужика, спешно пересекавшего безлюдную дорогу. На нём была та самая «куфайка», длинная, неопределённого тёмного цвета, с мазутными разводами на полах и рукавах. В сочетании с косматой ушанкой, хлопавшей клапанами, с головастыми катанками, утопавшими в калошах-вездеходах, она создавала типичный, почти символический образ сельского механизатора, затурканного вечно срочными посевными, жатвами и ремонтами, рабочими графиками «от светнадцати до темнадцати», при которых не то что позаботиться об эстетичной экипировке, но и умыться толком бывает некогда...

И вот вместо того, чтобы посочувствовать пахарю-кормильцу, я бездумно намеревался попрекнуть его, бедолагу, за то, что он своим видом «портит» наш сельский пейзаж, снижает образ доблестного хлебороба. По крайней мере, даёт пищу для демагогов, любителей поёрничать над его сермяжной амуницией по сравнению с упаковкой «свободного» фермера из-за кордона, одетого «по-людски» и живущего «по-человечески».

Но, слава Богу, не написал я того навета, не поднялась рука. Как ни жаль было живописной вступительной картинки, чем-то напоминавшей встречу Емельяна Пугачёва с Петрушей Гринёвым в бурной оренбургской степи, бросил её в корзину. А сотворил совсем другую заметку, можно сказать, во славу русского ватника. Не с досужим домыслом в основе, а с самым что ни на есть реальным житейским фактом. Просто рассказал, как в пору юности работал я подручным в ремонтных мастерских на селе и как мой механик Гриша Рец даровал мне, студенту-филологу, прибывшему на запоздалую хлебоуборку в тоненькой ветровке, добротную фуфайку с собственного плеча. Для удобства в нашей работе. И дар сопроводил словами: «Бери, нигде не подведёт: тепло, легко, и замаслишь — не жалко». Лишний раз убедившись в преимуществах этой поистине универсальной одежды, впрямь одарившей меня и теплом, и лёгкостью, и «свободой», я был искренне благодарен своему шефу.

Как поныне благодарен тому неведомому автору письма, подказавшему мне, что хилая изгородь может свидетельствовать совсем не о лени и тем паче не о бескультурье хозяина, а, напротив, о высоком настрое его души, устремлённой не к мелочам быстротекущей жизни «здесь», а к будущему вечному пристанищу «там». Мысленно кланяюсь и мудрому земляку Ивану Григорьеву, который напомнил, по сути,

о том же своей выходной фуфаячкой из чистейшего коттона, в которой явился на праздник ветеранов сельского труда. Не из каприза, не по невежеству, а просто в силу врождённой свободы воли поступать «по своему хотению». В самом деле, почему он должен был отказаться от привычной и удобной для него одежды? Только в угоду неким модным веяниям, за которыми гоняются глупцы и бездельники?

Точно так же наверняка рассуждал и тот троцкий механизатор, который в продуваемых мастерских, не заморачиваясь досужими модами и дресс-кодами, находил удобным работать в фуфайке, выдавшей виды, и в катанках с калошами, не боявшихся ни стужи, ни сырости. А уж придя домой, куда он, видимо, спешил на исходе дня сквозь снежную метелицу, облачался в более «цивильную» одежду. Словом, поступал как человек разумный и свободный от всяких предрассудков асфальтовых пустоплясов... Я уж не говорю о том, что именно в телогрейках многие наши отцы и деды сражались с фашистами, дошли до Берлина, спасли от коричневой чумы тех «эйропейцев», что нынче кичатся своими «свободами» и «прикидами»...

Как-то холодным днём на исходе зимы шёл я по городу и специально обращал внимание, во что одета нынешняя молодёжь. Почти поголовно — в эти синтетические куртки-дутыши. Не в «ватники», а в «стекловатники» и «поролонники», неуклюжие, кургузые, до чресел. И почему-то стёганные не вдоль, а поперёк, и зачастую не прямыми, а кривыми и ломаными линиями. Красота? Но, по-моему, оч-чень сомнительная. И уж точно не та, что спасёт мир, скорее наоборот. К примеру, известно, что именно из-за подобных «стеклянных» курток до пояса, в «ансамбле» с узкими грубыми джинсами, треть молодых матерей в России ныне рожает «кесарят». А молодёжь северных народов, под давлением агрессивной моды сменившая традиционные меховые малицы, сакуи да бокари на синтетическую одёжку западного образца, частенько страдает ранней чахоткой. И до срока сходит в «нижний мир».

Так что — да здравствуют шубы, ватники, фуфайки, стежёнки, телогрейки и душегреи на просторах Руси! Во всяком разе, лично я готов с гордостью носить их до конца своих дней. Ну а насчёт обзывания «ватником»... Обидно слышать, конечно. Особенно из уст единокровных украинцев и отдельных белорусов, предавших наше братство и падших до профашистских замашек. Но, поди, переждем, отмахнёмся, не впервой. Предлагаю для начала вооружиться встречным прозвищем. К примеру, созвучным «стерватник». Откуда такое? Объясняю. Стерва по-старорусски — это падаль, ныне же — подлый, мерзкий человек. В предлагаемой кличке явно прослушивается и «стервятник», то есть хищная птица, жадная до падали, что тоже лыком в строку. Да и по форме реакции привычно с детства. Помните? «Дурак». — «Сам дурак». Или: «От дурака слышу». Вот и я бросающих мне «ватника» резко обрываю: «От стерватника слышу!» Тем более

что нынче власти нас призывают к своему словотворчеству во имя изгнания варваризмов и прочего языкового мусора.

А мудрецы издавна учат: ставшее смешным уже не может быть опасным.

«РАСТАТУРИХА ТЕЛЕГУ ПРОДАЛА...»

Всё же действительно самый талантливый творец произведений всякого искусства — это народ. И, пожалуй, особенно искусен он в творчестве словесном. Притом обходится порой столь скромным объёмом «словесной руды» и набором художественных средств, что просто диву даёшься.

Ведь чтобы создать образы героев, которые стали вечными, а имена их — нарицательными, величайшим поэтам, писателям всех времён и народов потребовались целые тома. И полумифическому греку Гомеру, воспевшему доблестного Ахиллеса с хитроумным Одиссеем, и испанцу Мигелю Сервантесу, породившему чудаковатого рыцаря Дон Кихота, и нашим классикам от Александра Пушкина с его «добрым приятелем» Евгением Онегиным, от Льва Толстого с его «точно живыми» Андреем Болконским и Анной Карениной до Александра Твардовского, воссоздавшего характер «тёртого» русского солдата Василия Тёркина в поэтической «книге про бойца», или Михаила Шолохова, что вывел в своей эпопее тип правдоискателя-казака Григория Мелехова. А вот народ наш умеет создать выразительный образ, характер и даже ментальный тип не только в эпосе, в пространной былине или затейливой сказке, из которых встают Ильи Муромцы, Василисы Премудрые, Иваны-царевичи и Иванушки-дурачки, но и в какой-нибудь байке, побаске либо четырёхстрочной частушке, вроде вот этой:

Растатуриха телегу продала,
На телегу балалайку завела.
Балалаечка наигрывает,
А Растатуриха наплясывает...

И все вы, конечно, знаете эту Растатуриху, не однажды слышали о ней и даже наверняка встречались с нею. Мне, к примеру, она запомнилась с далёких детских лет. Я, можно сказать, видел её воочию и отчётливо помню до сей поры. При упоминании её имени перед моим мысленным взором неизменно всплывает «конкретная» Растатуриха в образе нашей разбитной деревенской бабёнки, матери-одиночки Ганьки Талашкиной, голосистой песельницы и ловкой плясуньи. Замечу, что при этом была она и не менее ловкой работницей, в чём мне доводилось не раз убеждаться самому. Особенно в сенокосную пору, когда я, как и многие подростки, работал копновозом, подвозил к стогу сено на лошадке, запряжённой в волокушу, а Ганька была копнильщицей, вместе с товарками сгребала в копны сенные рядки деревянными граблями, и они прямо-таки летали в её проворных

руках, словно живые. Но больше всё же она запомнилась мне именно в образе этакой простодушной Растатурихи.

Отец мой был тогда бригадиром полеводческой бригады. По заведённому в наших палестинах обычаю, большие праздники (и очередную годовщину Красного Октября, и православную Пасху, и традиционные крестьянские отсевки-отжинки) отмечали коллективно, всей бригадой. И «гуляли», как правило, у нас, в бригадирском доме, благо он был довольно просторным. И вот тут заводилой неизменно выступала бойкая Агафья Талашкина, или Ганька Талашка, как чаще называли её в селе. Она первой, вслед за бригадиром, поднимала тосты от имени «тружеников полей» и запевала в общем хоре, но всё же коронкой её было сольное выступление — пляска с припевками, среди которых особо выделялась та самая, про Растатуриху.

Ганька брала в руки балалайку, которой, к слову, владела не менее ловко, чем ручными граблями, выходила на круг и, задорно подпрыгивая сама себе, выдавала с приплясом свою козырную частушку. Можно даже сказать, она разыгрывала с той частушкой целую сцену, создавая выразительный образ, всеми узнаваемый характер:

...А балалаечка наигрывает,
А Растатуриха наплясывает.

Так и вижу эту быстроглазую, быстроногую молодайку, с русыми косами, собранными в корону на темени, в белой кофточке, вышитой по вороту и рукавам, в раструбистой юбке, гулко постукивающую каблуками о наши половицы и звонко припевающую с лукавой усмешкой: «А Рас-та-ту-риха наплясывает...»

Никому более из выходивших на круг не хлопали гости столь дружно, ничей номер так горячо не сопровождали поощрительными выкриками: «Делай, Ганька! Жги, Ганька, однав́ живём!» Может, потому, что исподволь чувствовали: не о себе только рассказывала она своей припевкой и танцем, не одну свою долюшку «разыгрывала», внешне развесёлая, но, в сущности, горемычная «соломенная вдова» и незадачливая «бросовка», каких встречалось (да и встречается) немало по русским селеньям...

Ганька среди них, пожалуй, выделялась особо сирой неприка-янностью. Отец её, Максим Талашкин, вернулся с фронта, но из-за тяжёлых ранений протянул недолго. Вскоре, подкошенная утратой, ушла и мать. И Ганька осталась одна в осиротевшем доме. Она была уже девкой на выданье, но в те времена жених был редок и привередлив, а Ганька не отличалась ни особой красотой, ни хозяйственностью. Сваты явно не спешили к ней за «товаром», да и свои попытки залучить «купца» обычно заканчивались ничем. Правда, один задержался было, да и то... Звали на селе этого мужичка, прибитого ветерком, Васёк Паньков. С виду тихоня, но броские наколки на руках намекали, что в тихом озере водились и черти. Васёк пожил какое-то время

постояльцем у знакомых, а затем попал в Ганькины сети, вошёл к ней в дом примаком. Расписываться с нею не торопился, хотя Ганька, «дела вдаль не отлагая», вскоре принесла ему погодков — девчонку и парнишку. Правда, на хлебником Васёк не жил. Неплохо владея топором, подновил городьбу во дворе, в огороде, перетряс крышонки на избе и на бане, просевшие без мужского догляда. Не вступая в колхоз, подрабатывал в нём, плотничал в строительной бригаде. Годика три протюкал на разных сельских стройках. Потом в один прекрасный день, после расчёта за «сданный в эксплуатацию» колхозный свинарник, вдруг исчез из села в неизвестном направлении. Сбежал без объяснения причин. Ганьку и детишек не взял с собой: оставайся, лавка, с товаром...

Так поневоле стала Ганька «бросовкой» и «соломенной вдовой». Однако в уныние не впала, в тоску не ударилась. На сочувственные речи и деловые советы селян — подать в розыски, чтобы принудить беглеца к уплате алиментов, — она махала рукой: «А-а, как пришёл, так и ушёл. Скатертью дорожка». Ребятишек, пока были мал мала, определила в ясли, где временно сама поработала няней, а когда чуток поднялись они на ноги, вернулась в колхозную бригаду. Детей сперва продолжала водить в ясли, потом стала, уходя на работу, расписывать по соседям или просто оставлять домовничать одних. Зимой они сидели в избе, грелись на печке, а летом их чаще всего видели игравшими на завалинке под окошками дома.

Не отставала Ганька и от «вечерней жизни» села, умудрялась бегать в клуб, не пропускала ни кино, ни концертов. А летом на «пяточке» и сама «выступала», играла на балалайке и пела любимые частушки, включая свою забойную: «Растатуриха телегу продала...» И вскоре саму её, конечно, прозвали меткие на язык односельчане Растатурихой. В соответствии с пословицей: кем назовёшься, тем и прослывёшь...

Она, верно, никакой телеги не продавала. Хотя всё же телега у неё когда-то действительно была. Осталась от отца Максима, который работал конюхом и держал на домашнем дворе ладные «резервные» дрожки, сработанные им самим. Но Ганька, оставшись одинокой, отдала их в бригаду. Вместе с упряжью. Бригадир хотел выписать ей пару-другую трудодней за бескорыстный дар, но она и от них отказалась: «А-а, не жили богато — неча канителиться. Пускай — на память о тяте». Кстати, это иные селяне тоже сочли за проявление Растатурихиной простоты. Ну и многим остальным она всё более оправдывала прозвище: и заросшим двором, и скудной живностью в нём, состоявшей из коровёнки да десятка куриц, и «условными» запасами дровишек под навесом, и скромными съестными припасами в яме и кладовке. По осени Ганька спешила львиную долю накопанной картошки сдать в сельпо, заработанного хлеба — свезти на базар, чтоб на вырученные деньжонки принарядиться самой, одеть ребятишек, закупить им игрушек и сладостей. А по весне, когда кончались

продукты, шла по соседям занимать их под будущий урожай или брала «под запись» в колхозной кладовой. И вообще была склонна к тому упованию на авось, к привычке делать «на живульку», которые народная фантазия выразила в собирательном образе, давшем ей прозвище. И Ганька не обижалась, что оно прилипло к ней, даже откликалась на него, смирившись с такою славой. Но однажды всё же слава эта шибко огорчила и рассердила её.

Где-то в конце Корейской войны прошёл слух по селу, что сердобольная Россия наша решила приютить тысячи осиротевших корейских детей и что их будут «раздавать» желающим на содержание и воспитание по всем городам и весям, в том числе завезут и в наш сибирский угол. И вот, узнав об этом, Ганька Талашка первой прибежала в сельсовет, чтобы «заказать» себе двоих-троих корейчат. До кучи, как говорится. Строгий председатель сельсовета Петро Дзирне, по прозвищу «латышский стрелок», на просьбу ответил уклончиво, что, мол, учтёт пожелание заявительницы, если будет такая возможность. Однако вослед обнадёженной посулом Ганьке не удержался бросить наставление: «Но сперва, товарищ Талашкина, подбери своих собственных, чтоб не ползали в пыли под окошками без догляда...» На что Ганька, вспыхнув от обидного замечания, резко ответила: «Не председателю бы повторять бабьи сплетни про Растатуриху!»

Тех обещанных корейских сирот к нам в село так и не привезли. А Ганька оскорбительное недоверие родной власти переживала недолго. Погрустила чуток да снова пустилась в бурную жизнь села — что на работе, что в клубе, что на вечёрках и гулянках, включая общебригадные. Вроде той, с которой я начал эти заметки и которая навеки одарила меня ярким впечатлением от встречи с живым воплощением образа Растатурихи, довольно типичного для нашего народа во все времена. Даже и в нынешние, «новорусские».

Растатуриха, конечно, героиня скорей отрицательная, чем положительная. Она и безалаберная, и бездумная, и расточительная, и неумеренная, и доверчивая до глупости... Однако при всём при том, откровенно признаться, многое нам нравится в ней. Даже в далеко не лучших чертах её характера кроется для нас какое-то невыразимое обаяние. Мы невольно сопереживаем ей, как близкому человеку. Должно быть, подсознательно чувствуем родственность наших душ. И, видимо, не зря при упоминании частушки о ней пришла мне на ум землячка Ганька Талашка, наша живая деревенская Растатуриха, через толщу лет и зим выросшая в моём представлении до образа, отчасти олицетворяющего наш народ. И даже, может быть, прости Господи, саму нашу Русь-матушку, по крайней мере, на некоторых её исторических зигзагах.

Да-да, как это ни горько сознавать...

Вспомним хотя бы не самую давнюю историю Отечества — царскую. Была у нас великая империя Российская — от «финских хладных скал»

и аж до Аляски. Потом Аляску эту спустили мы за бесценок Америке, сомнительной стране международных авантюристов, бродяг и уголовников. Вроде бы сдали временно, на сто лет. Но минул срок, и никто не вспомнил об этом. Или вспомнил, да махнул, вроде нашей Ганьки: «А-а, как пришла, так и ушла. Не жили богато...» В общем, «Растатуриха телегу продала»...

Через полвека после того бросились мы на подмогу заклятым друзьям англичанам, французам и прочим в чужой, по сути, войне (Первой мировой), за чуждые нам интересы. Положили на полях сражений миллионы русских голов, лишились не только «финских хладных скал» и Польши, но едва не потеряли Украину с Белоруссией. Слава Богу, удалось через новую кровь и лишения собрать державу, пусть и под другим флагом и названием: «Союз нерушимый республик свободных»... Настроили мы тысячи заводов и шахт, насытили деревню техникой, пересадив пахаря на железного коня, всем поголовно дали грамоту. Сумели победить в самой страшной войне всех времён и народов самого страшного врага — фашизм, освободили Европу и стали окружать себя странами с лояльными режимами, усердно подкармливать их, отрывая последний кусок у своего народа. Раскрыли им свои объятия, наподобие той простодушной Ганьки Талашки... И что? А то самое: «Растатуриха телегу продала...»

Впрочем, всё же страна наша, благодаря воистину самоотверженному труду миллионов, стала второй сверхдержавой мира с мощной экономикой, обуздала атомную энергию, создала непобедимую армию, выковала ракетно-ядерный щит, первой прорвалась в космос, опередив хваленый «цивилизованный» мир... Но, видно, от всех тягот и перенапряжений сдала её станова жила. По своей простоте и доверчивости не заметили мы, как внутри большого трудового народа выростала кучка «малого» из бездельников и отщепенцев, ставшая «пятой колонной», с помощью которой западные «партнёры» подготовили и провели «демократический» переворот.

И снова, как при фашистском нашествии, были порушены тысячи заводов и фабрик, разорены крестьянские артельные хозяйства, а наиболее доходные промышленные предприятия и бесценные природные богатства оказались в руках самых бездарных и хищных персонажей, севших на шею народа, который остался ни с чем. Кроме разве «балалайки», всунутой ему вместо «телеги»... В том, что и последнее лыко в строку, убедиться можете сами, включив свой широкоэкранный закордонный телевизор. На всех сорока (или сколько их там ныне?) каналах увидите и услышите одно:

Растатуриха телегу продала,
На телегу балалайку завела...

Ох, не к добру это бесноватое развеселие в пору накатывающих бед и тревог, когда всё слышнее шевеленье громов с Дона и с моря,

с Днепра и с Днестра, да и на Востоке погромыхивает, как на Ближнем, так и на Дальнем.

Оно, конечно, верно, что Растатурихи искони разнообразят и даже украшают нашу русскую жизнь. И пусть они вовеки пребывают в народной среде, но только «выступают» в меру и сроки, согласно пословице: делу время, потехе час. Что говорить, Растатуриха весьма живописна, как и Василиса, премудра, однако сегодня нам куда нужнее искусная врачевательница и рукодельница, верная (святая благоверная) княгиня Феврония Муромская. Или уж если Василиса, то похожая на ту боевую старостиху Василису из времён французского нашествия.

ЧУТЬ ЖИВЫЕ...

Как, наверное, и многие другие красноярские пииты и прозаики, особенно — из числа «коренных», могу сказать, что наш альманах «Енисей» сыграл не последнюю роль в моей литературной судьбе. Начать хотя бы с того, что он был первым журнальным изданием, напечатавшим мои стихи. Притом я не стучался в его двери, не обивал его порогов, а он, по сути, сам пригласил меня на свои страницы.

Это случилось где-то на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов прошлого столетия, то есть (страшно подумать!) более полувека назад. Я был тогда студентом Красноярского педагогического института. Современную литературу нам, филологам и историкам, преподавал Борис Беляев, какими-то путями залетевший в наши края остепенённый литературовед и довольно известный критик, статьи которого нередко печатались в московских журналах. У нас же в Красноярске он свои работы, естественно, публиковал в «Енисее» и даже входил в состав его редакционной коллегии. И вот однажды, придя на очередную лекцию, он поприветствовал нас, встал за кафедру и вдруг, словно бы между прочим, спросил: «Стихотворец Щербаков здесь?» Кто-то из однокашников непроизвольно хихикнул, видимо, найдя вопрос ироничным, а я почувствовал, как загораются мои уши, и молча поднялся в подтверждение своего присутствия. Борис Леонидович кивнул мне и сказал: «Ваше стихотворение я передам в редакцию „Енисей“, если, конечно, не возражаете». Возражать я не стал, да и не смог бы от волнения, а лишь мотнул головой в знак согласия и так же молча опустил на место.

Оказалось, почтенный профессор прочитал в институтской многотиражке моё стихотворение «Однокурснику», посвящённое приятелю Вовке Григорьеву, оно ему понравилось, и он решил предложить его уважаемому альманаху. И стихотворение это действительно вскоре там появилось. Оно, кстати, и поныне мелькает в моих сборниках, по крайней мере, в тех, что адресованы юношеству.

После вуза, работая учителем в Канске, я входил в тамошнее литературное объединение, и мы, начинающие авторы, кроме «своих»

газет, городской и межрайонной, изредка украшали коллективными подборками стихотворений и рассказов благословенный «Енисей».

Ну а позднее, когда я переехал жить в Красноярск и стал работать в журналистике (сперва на краевом ТВ и радио, потом в «Красноярском рабочем»), мои, уже персональные, «мелькания» на страницах литературного альманаха заметно участились. Особенно сблизился я с «Енисеем» в семидесятые годы, когда его главным редактором был Анатолий Чмыхало, а бессменным ответственным секретарём — Иван Уразов. В те времена при Союзе писателей энергично действовало бюро пропаганды художественной литературы, организуя встречи писателей с читателями в краевом центре и на периферии. В города и районы края часто выезжали писательские бригады. И хотя я ещё не состоял в рядах Союза писателей, меня тоже приглашали в эти поездки в качестве «молодого поэта».

Чаще всего брал с собой Анатолий Иванович, любивший и умевший проводить эти литературные встречи в провинции. Охотно брал, думаю, не столько за мои «таланты» и «деревенские мотивы», близкие людям глубинки, сколько за то, что я не стремился особо «высовываться» на выступлениях, скромно прочитывал пяток стихотворений и уступал сцену старшим товарищам по ремеслу. В бригаде нас обычно бывало трое. Последним, как правило, выступал Анатолий Чмыхало, голова писательской организации, редактор альманаха. Выступал долго, но весьма занимательно. Читатели слушали его с удовольствием, ценили артистизм, да и хорошо знали его книги, прежде всего роман «Половодье», который иные местные критики называли сибирским «Тихим Доном».

Среди этих творческих поездок были и, можно сказать, целевые, рассчитанные на пропаганду «Енисея», на привлечение к нему новых подписчиков, хотя тираж его зашкаливал за двадцать пять тысяч. И в подобных вояжах мне тоже доводилось участвовать. Сперва как автору альманаха, а позднее и в качестве члена редколлегии и даже зама главного редактора. Правда, лишь номинального, общественного...

И вот, помнится, прилетела наша бригада от «Енисея» (главный редактор Анатолий Чмыхало, активные авторы поэт Зорий Яхнин и ваш покорный слуга) в таёжное село Тасеево. Я не оговорился, именно «прилетела», ибо в те застойные «совковые» времена, представьте себе, воздушные линии связывали Красноярск не только со всеми городами края, но и со многими крупными сёлами и посёлками, а уж с районными центрами — обязательно. Почти сразу, «с колёс», мы включились в работу. Побывали на встречах в редакции местной газеты, в библиотеке и, кажется, ещё в конторе одного леспромхоза. А в конце дня состоялась большая встреча с тасеевцами в Доме культуры. Вёл вечер, понятное дело, «сам» Анатолий Иванович, он же занял и львиную долю времени, отпущенного нашей компанией. Но всё же и Зорию, и мне тоже довелось тепло пообщаться с публикой. На этот

раз главред выступал первым, и мы выходили уже к «разогретой» им аудитории. К тому ж на стихи обнаружился особый спрос. И нам пришлось не только читать домашние заготовки, но и на ходу импровизировать, откликаясь на просьбы из зала, в котором нашлось немало истинных любителей поэзии, знакомых даже со стихами «певцов родного края».

По окончании литературного вечера его организаторы и хозяева района пригласили нас отужинать в банкетном зальчике при соседнем кафе. К обильному столу подавалось и горячительное. Тосты поднимались один за другим. И с устатку, после перелёта да после волнений, испытанных в череде встреч, они подействовали на нас скорее угнетающе, нежели ободряюще. Впрочем, по виду могучего Анатолия Чмыхало этого не было заметно. Любитель выступать и богатырствовать, он и в застолье продолжал действовать в своём духе. И когда в конце приёма его, как руководителя нашей бригады, пригласили в отдел культуры подписать некие бумаги, мы с Зорием Яковлевичем не стали дожидаться «шефа», поблагодарили хозяев за гостеприимство и пошагали в гостиницу.

Несмотря на глубокие сумерки, возле крылечка гостиницы толпился и шумел какой-то народ. Судя по голосам, это были молодые люди. Когда мы приблизились к ним, парни и девчата почтительно расступились перед нами, так что нам пришлось проходить по живому коридору. При этом с обеих сторон посыпались в наш адрес всякие одобрительные слова и приглашения приезжать почаще. А когда одна девица вослед нам восторженно выдохнула: «Живые поэты!» — притом безо всякой иронии, то Зорий Яковлевич шепнул мне на ухо: «Чуть живые...» — «Но на „чуть-чуть“ и держится высокое искусство», — в тон ему ответил я.

И хотя мы переговаривались тихо, не на публику, многие расслышали наши шуточные слова, рассмеялись с добродушным пониманием и дружно захлопали в ладоши, как на литературном вечере.

Наутро мы вылетали домой, в Красноярск. И деловитый райкомовец, провожавший нас до порта, в ответ на моё сообщение о ещё одной вчерашней встрече с читателями возле гостиницы уверенно сказал, что там юные любители литературы специально поджидали нас, чтобы поближе взглянуть на «живых поэтов» и попрощаться с ними. Это нас растрогало...

А та ироничная фраза покойного Зория Яхнина часто вспоминается мне в последнее время. Вспоминается не без горечи, оказавшись пророческой в некотором роде. Поразмыслите сами. В глухие «тоталитарные» времена, в условиях, по нынешним представлениям, мертвящей советской цензуры мы, рядовые стихотворцы, в любых состояниях воспринимались нашими читателями как «живые поэты». А вот по-настоящему «чуть живыми» (даже пребывая в хронической трезвости) оказались теперь, во внешне свободном от всяких цензур

демократическом обществе. Не только потому, что писательский труд перестал, по сути, считаться таковым, ибо он зачастую не вознаграждается, и не только потому, что ни писатель, ни поэт даже не значатся в государственном реестре современных профессий, но и потому, что их теперь мало кто читает и слушает. Как по причине мизерных тиражей книг и журналов, редкого допуска литераторов к главным медийным рупорам — радио и ТВ (не зря они грустно шутят: «Меня нет в телевизоре, значит, я не существую»), так и в связи с обвальным падением интереса народа к чтению. И вообще к миру художественного слова, что вызвано насаждаемой жаждой наживы, потребительства и фактически антикультурной политикой в стране. Во всяком разе, так было до недавних дней.

Поэзия, конечно, от этого равнодушия к ней не умерла. Она бессмертна. И живые поэты ещё встречаются в народе, но они уже поистине чуть живые. И станут ли для них живой водой, помогут ли воспрянуть духом те хлынувшие вдруг с самого верха разговоры о поддержке литературы, развитии интереса к чтению, защите языка, увенчанные ныне созданием Общества русской словесности, нам пока неизвестно. Но поживём — увидим.

ФЕСТИВАЛЬ

«Литературное пространство»

С августа по декабрь 2014 года по городам и весям Красноярского края проходил организованный краевым Домом народного творчества медиафестиваль под названием «Созвездие талантов» (выражаясь языком недавнего прошлого — краевой смотр народной самодеятельности). Вместе с музыкантами, певцами, танцорами и умельцами народных промыслов с 2013 года в медиафестивалях участвуют самодеятельные поэты и прозаики (номинация «Литературное пространство»).

Не все тексты, присланные на конкурс медиафестиваля, были равноценны, и это естественно; однако, как писал поэт Андрей Вознесенский: «За попытку — спасибо!» Жюри номинации «Литературное пространство» было вполне удовлетворено результатами литературного конкурса, в том числе и обилием новых, никому доселе не известных имён авторов-любителей.

В разделе «Проза» классные места в конкурсе заняли *Вера Глухова* и *Мария Кузьмина* (обе — из Лесосибирска).

АЛЕКСАНДР АСТРАХАНЦЕВ

член жюри краевого медиафестиваля,

член Союза российских писателей

Вера Глухова

«Папа, расскажи мне случай»

Так часто просили своего отца кто-нибудь из его сыновей или дочка, а необычных случаев и событий в его жизни было множество. И главное — что были эти воспоминания не из нашей обыденной городской или деревенской жизни, а из далёкого, незнакомого, таинственного мира, называемого папиным детством. Далёкого не только потому, что детство его проходило в сороковые — пятидесятые годы прошлого столетия, а потому ещё, что уклад жизни был таким, каким он был в семнадцатом — девятнадцатом веках в старообрядческих семьях, живших в глухой тайге, а стало быть — незнакомым и таинственным. Однажды, сидя за праздничным столом, младший сын произнёс гостепожелание: «Папа, мы очень хотим, чтобы наши дети, так же как и мы, знали то, о чём ты рассказывал нам в детстве. Со временем это утратится, а ты запиши свои случаи. Пусть мама поможет — так они лучше сохранятся...» И вот, словечко за словечком, вечер за вечером, и оказались эти рассказы на бумаге.

Буль-буль

Себя я помню вот с какого момента. Я сижу в большой сумке-коробе со своим младшим братом Кирилкой. Короб — на спине у отца. Отец идёт по болоту, и мне слышно только, как хлюпает вода под его ногами. Я смотрю через его плечо и размеренно повторяю: «Буль-буль, буль-буль». Шли долго. Я то засыпал, то просыпался, а звук был всё тот же: буль-буль, буль-буль...

Наконец короб оказался на земле, и я выполз из него. Стоять было тяжело — видимо, затекли ноги.

На сухом пригорке вокруг упавшего дерева бегали мои старшие братья, Архип и Максим. Мать с бабушкой доставали из котомок съестные припасы. «А где же мы будем есть? Стола-то нет», — подумал я. И тут отец вынимает из-за пояса топорик, ловко затёсывает на лежащем дереве плоскость, и получается длинный узкий стол, за которым мы и пообедали.

Вот так мы переселялись из Килинской, где родились я и трое моих братьев, в ещё более глухое место, где стояло только две избышки. В одной из них нам предстояло жить; в другой жили наши единоверцы Некрасовы.

И только став взрослым, я представил себе, как это было на самом деле. От Килинской до местечка на речке Луговой, где нам предстояло

прожить восемь лет, было тридцать километров прямого хода по тайге через болото. Мне было тогда около двух лет, Кирилке — около годика, а старшим, Архипу (мать звала его Типкой) и Максиму, — пять и четыре года. Старшие братья шли пешком. Пешком шли и бабушка, которой тогда было около семидесяти, и «непраздная» мать. «Праздной» я её почти не помню.

НЕРАДИВАЯ НЯНЬКА

Избушка нам досталась от дедушки Епиксима, моего крёстного, — маленькая, где-то три на четыре метра. Третью часть занимала русская глинобитная печь. Местом нашего обитания были улица или полати, а Кирилка спал в зыбке. К слову, как отец зыбки делал. Толстый черёмуховый прут сгибался в овал и обшивался грубой холстиной. В углубление и клали младенца. За матицу втыкали очип (черёмуховую жердь) и к её концу на верёвках крепили зыбку. В зыбках мы росли до тех пор, пока не начинали ходить.

Максиму было поручено присматривать за младшеньким: докучливых комаров отгонять да покачивать. А на улицу ой как хочется! Вот и сообразил он, как и братишку от комаров избавить, и самому поиграть на свежем воздухе. Во дворе всегда был дымокур в стареньком ведре. Делали мы его из бак (губки-грибы на берёзах). Иногда баки заносили домой, особенно перед ночью, чтобы изгнать кровососов. Он и занёс ведёрко в избу, поставил под зыбку, а сам убежал.

Вспыхнул дымокур, холстина прогорела, и Кирилка ухнул в огонь. Мать в это время пелёнки в омутке полоскала. Услыхала крик, прибежала, схватила парнишку — и к речке.

Бабушка подросла, мы сбежались. Помню, как бабушка закапывала Кирилку в речной ил — только личико было видно. Так и спасла — жив остался.

БАБУШКИН САХАР

Любимой забавой зимой было катание с горки. Катались кто на чём мог: на камусных лыжах, на нартах, на ледянках.

Как-то я скатился с горки и начал подниматься наверх, а старшие братья оседлали нарты и, не заметив меня, помчались вниз. Я, видимо, тоже их не заметил — иначе бы отскочил, и оглобля нарт попала мне в висок. Скорее всего, я потерял сознание, потому что очнулся на нартах — братья везли меня домой. Помню много крови и боль в голове.

И снова на помощь пришла бабушка. Достала из-под матицы кусок сахара, завёрнутый в белую тряпицу, наскоблила ножом сахарной пудры и обильно присыпала рану. Не бинтовала. Кровь унялась, рана через несколько дней затянулась.

В армию меня не взяли именно из-за этой вмятины: сказали, что она больше допустимой. Вот так.

Голод

Ранняя весна. В это время отец всегда уходил на охоту за лосем. Убив зверя, он тащил его по насту, а затем лабазил. Лабаз — кладовая на дереве. В неё укладывается мясо и укрывается лапником. И росомаха не достанет, и вороньё не доберётся. Потом отец шёл за матерью, чтобы притащить добычу в дом.

Так было и в тот раз. Взяли они нарты и пошли на лыжах за добычей. Вернуться должны были дня через три, но внезапно началась оттепель, да такая, что даже наст не держал. Выбраться из леса по мокрому снегу метровой глубины было уже невозможно.

Мы, пятеро ребятишек, оставались с бабушкой, которой было уже далеко за семьдесят. Весна в тайге — время не из лёгких. Овощи с нашей маленькой пашни почти заканчивались. Коровы не было. Кедровый орех, из которого мы делали молоко, тоже был на исходе. Вся надежда — на весеннюю охоту.

Проходит неделя, другая — родителей нет. Припасы почти закончились. Бабушка распаривала шкуры сохатины, на которых мы спали, резала на узкие ленточки и долго варила, приправляя это варево остатками муки и картошки.

Заканчивалась третья неделя. Я помню день, когда на столе стояла маленькая чашечка с солёной черемшой — больше ничего съестного не было. А тем временем вскрылась наша речушка (весной она была проходима для маленьких судёнышек). Вот тогда и приплавились на плотике наши родители со спасительным грузом.

Никониане

Это случилось тоже в отсутствие родителей: к нам попросились на ночлег две монахини. Откуда они взялись в глухой тайге, я до сих пор не могу понять. Помню только, что была зима. Бабушка пустила их переночевать в баньке, что топилась, конечно же, по-чёрному. В избу не пустила — никониане.

На следующий день странницы отправились в путь, умудрившись ночью на каменке в бане испечь небольшие булочки. Мы высыпали на крылечко проводить редких гостей. Бабушка стояла рядом.

Гости низко поклонились и в знак благодарности поднесли бабушке белую булочку, от которой исходил такой необыкновенный аромат, какого мы и не знали. Я его на всю жизнь запомнил — аромат настоящего хлеба.

Бабушка стояла прямая, как свеча. Мы прижимались к ней в надежде, что она примет дар. Но она не протянула руки, и странницы ушли.

Наш хлеб был другим. В ржаную муку, которая молотась на ручной меленке, мы добавляли берёзовые опилки, напиленные особой пилой. Они были как пух — нежные, мягкие, но это всё же не мука. Наш хлеб был чёрным и тяжёлым.

СТРАННАЯ ТЁЛКА

Основное пропитание нам давала тайга. В начале лета собирали «сибирское сало» — черемшу (мы её называли колбóй). Потом грибы появлялись — их солили, сушили. В конце лета — смородина. Потом поспевали кедровые шишки. Орех был единственным источником молока и масла. После первых заморозков заготавливали бруснику. Сбором таёжных даров занимались бабушка, мать и мы, ребяташки.

Подспорьем была летняя рыбалка, но этим «развлечением» занимались только мы, дети. Да и водоёмчик-то был невелик: несколько небольших омутков, соединённых ручейками. Отец промышлял в тайге.

Кормила и небольшая пашня. Сеяли рожь, горох, репу, брюкву. Сажали редьку, капусту, морковь, свёклу, картошку. Несколько раз в год отец ходил в Александровский Шлюз сдавать пушнину, а на вырученные деньги покупал муку и соль. Конечно же, кроме муки и соли, он брал что-то и для хозяйственных нужд, одежонку, охотничьи припасы. Но вот из съестного, кроме муки и соли, я не припомню ничего. Сладости? Не-е-ет. Самым большим лакомством для нас были сушёные парёнки из брюквы — ничем не хуже ирисок.

Нас было уже пятеро, и наконец отец решил завести корову. Всё лето они с матерью косили траву, выискивая мало-мальски пригодные для этого лесные полянки. И вот осенью отец ушёл в Шлюз, чтобы вернуться с телочкой, из которой выросла бы нам кормилица.

Через несколько дней он вернулся. Вернулся поздно вечером, в темноте, и я с нетерпением ждал утра, чтобы взглянуть на неизвестную мне доселе животину. Едва рассвело, я выскочил на улицу.

Ага: большая телушка. Только почему-то хвоста нет — торчит маленький обрубочек. И почему-то телушка так похожа на большую собаку!

Вернулся на полати, слушаю, о чём отец с матерью говорят. Оказывается, вместо долгожданной будущей кормилицы привёл тятя Соболя — собаку, которая потом верой и правдой служила ему надёжным транспортным средством. Да и на белку Соболя шёл хорошо. И то правда: в тайге хорошая собака важнее коровы.

ПЕРВАЯ ОХОТА

Мне было уже лет семь. Старшие братья ходили по заячьим тропам ставить петли и капканы. Десятилетнему Архипу и ружьём дозволялось пользоваться. Правда, носил он его, как коромысло, на плече (росту недоставало). А я любил увязываться за ними — постигать охотничью науку.

Вздумалось мне как-то без ведома братьев проверить капканы. Иду по заячьей тропе. Далеко зашёл — жутковато стало одному, а капкана всё нет. Возвращаюсь назад и вижу: в стороне от тропы под коряжиной кто-то бьётся. Страшно, а любопытство сильнее страха.

Подкрался, гляжу, а в капкане нашем — собака, маленькая, но злоющая: глаза сверкают, пасть ощерила, рычит, лает. Испугался я — и наутёк.

Прибежал домой, зову братьев. Хватает Типка ружьё (было у него маленькое, одноствольное, двадцать восьмого калибра) — и бегом втрём к злой собачонке. А она рычит, грызёт капкан — страшная. «Лиса это, — спокойно объяснил мне брат. — Выслеживала зайца, да сама и попалась».

Убитую лису Архип отдал мне со словами: «Держи, это твой первый охотничий трофей!»

Домой я шёл гордый: добытчик! А потом долго щеголял в шубейке с рыжим лисьим воротником. Таким меня запомнила и ваша бабуля Ия — моя первая учительница. Когда я приехал сватать вашу маму (а на мне тогда была рыжая пыжиковая шапка), она всплеснула руками и сказала: «Как был в рыжем, так и остался!»

НАЕДИНЕ С МЕДВЕДЕМ

Мне было уже десять лет, когда отец решил всё-таки выйти из тайги. К тому времени нас уже было шестеро братьев: старшему — тридцать, а маленькому Николаю — несколько месяцев. Жива была ещё и почти восьмидесятилетняя бабушка.

Речка, по которой предстояло сплавиться до устья другой, более полноводной, была настолько мала, что и рухлядь нашу, и нас всех невозможно было погрузить разом в большую лодку — она просто не прошла бы по руслу. Отец взял меня с Максимом, погрузил немудрящий скарб, и мы поплыли.

Добрались до устья, выгрузили всё из лодки на берег метрах в двенадцати от воды, поставили палатку. Отец обнёс наш стан пропитанной дёгтем верёвкой в радиусе десяти-двенадцати метров, навесил на неё тряпок, пропитанных керосином, оставил нам ружьё, заряженное холостыми патронами, а сам ушёл таёжной тропой за остальными.

Дело было весной. Хозяин тайги недавно вылез из берлоги и был шибко голодным. Первым делом он обошёл наш стан по периметру, сердито фыркая, хрюкая на противный запах. Потом сел и стал орать. У меня в руках была пила — хороший музыкальный инструмент, чтобы косолапого потешить, у брата — ружьё. Когда к противоположному запаху добавились ещё звуки пилы и выстрелов, медведь ушёл в лес.

Дров было достаточно, и костёр мы старались поддерживать. Наступила первая ночь. Решили спать по очереди, да где там! — сон сильнее страха: заснули оба. Правда, с нами был маленький Полкашка. Он при приближении медведя пронзительно лаял, но только забежав сперва в палатку и прижавшись к нам.

Утром я проснулся. Ощупал себя с головы до ног: живой ли? Обрадовался: живой! А брат уже и костёр развёл.

Продержались ещё день. Медведь появлялся всё чаще, и брат несколько раз выстрелил в воздух. Ушёл косолапый, да вот беда: патроны

были заряжены дымным порохом, и пыжи были бумажные. Один горящий пыж упал в сухой мох за нашей оградой, и мох загорелся. Весна стояла сухая, и пожар мог мгновенно охватить тайгу. Это было страшнее медведя. Благо речка рядом, да и мишке огонь не по нраву.

С огнём мы управились и замертво, уже ничего не боясь, заснули в палатке вместе с нашим трусоватым сторожем. Думаю, что если бы медведь ночью приходил, пёс всё равно разбудил бы нас. Но всё, слава Богу, обошлось.

На следующий день мишка снова начал свой обход, но тут раздались выстрелы, и «обходчик» скрылся в кустах. А я, потеряв всякий страх, бросился навстречу выстрелам. Через несколько минут я уже был рядом с отцом.

И ещё помню, что никогда — ни до, ни после — я столько не молился.

Конечно, рассказов гораздо больше, но я поделилась одним только периодом из жизни моего мужа. Вышла его семья из тайги в 1950 году, и пятеро братьев Глуховых — Архип, Максим, Ефим, Кирилл, а через год и Евгений — стали учениками моих родителей, работавших в начальной школе Александровского Шлюза. Трое старших хорошо читали, только по-старославянски. Читать учились по Псалтири и Евангелию. Это заслуга отца-старообрядца. Помню, родители всегда отмечали их как лучших учеников школы. И кто же знал, что через семнадцать лет один из них станет моим мужем и мы будем вместе вспоминать и рассказывать своим детям случаи из жизни в глухом таёжном посёлке Александровский Шлюз.

ОТЕЦ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ В МОЕЙ ЖИЗНИ

*Жизнь разлучила нас,
Но светоч не угас:
Вновь воссиял мне свет
Тех незабвенных лет,
Знакомый образ вновь
Передо мной возник...
Не забывается —
Как первая любовь
И первый духовник...*

М. Н. Гарденина

Зима 1990 года. Енисейск. Идём с приятельницей в Успенский храм. Зачем? Да не особо и задумывались над этим. Время было перестроечное, смутное, такое же у обеих было и состояние. Решили свечки поставить. Заходим. В храме полумрак, пахнет хвоей, а в центре храма — чудо, впервые увиденное! — вертеп, а в нём — огонёк. Бородатый коренастый мужчина лет тридцати уже собирался закрывать

храм, но, увидев на наших лицах искреннее огорчение, остановился и стал что-то говорить о Рождестве, о Христе, о радости. В храме было тепло, а у меня почему-то по спине пробежали мурашки: мне было холодно и жутковато, будто я стояла на пороге Вечности (такое состояние бывало, когда я смотрела на ночное звёздное небо: бесконечный мир — и я, маленькая пылинка). Вот такой запомнилась первая встреча с батюшкой, тогда ещё просто пономарём Успенского храма города Енисейска Александром Васильевым.

Летом этого же года мы с той же приятельницей стали единокупельными сёстрами во Христе, а с пономарём Александром познакомились ближе. Он был в большой дружбе с моей крёстной матерью Людмилой Дьяченко (впоследствии монахиней Василисой), и встречались мы чаще всего у неё или у нас, если не считать служб. Александр много рассказывал о своих исканиях Бога: хиппи, уход из мира, Украина, Сибирь... Но не это мне больше всего запомнилось — мы всегда начинали или заканчивали наши встречи чтением акафиста «Слава Богу за всё!» До сих пор, когда на душе беспокойно, когда кажется, что всё вокруг рухнет, вспоминаю его голос — уверенный, звучащий радостной надеждой: «Слава Тебе за благость во мраке, когда далёк весь мир; слава Тебе за умиленные молитвы растроганной души; слава Тебе за обещанное пробуждение к радости вечного не вечернего дня; слава Тебе, Боже, веки!»

После крещения прошёл почти год. Пономарь Александр стал священником, и исповеди мои проходили то у отца Геннадия, то у отца Александра. Исповеди были частыми и основательными: за сорок с лишним лет столько дров было наломано, столько падений, ошибок... Мне казалось, что душа моя — как днище лодки, облепленное ракушками, которые надо было скрести и скрести, а они снова налипали... Однажды наступил такой момент, что от тяжести этих вьёвшихся мерзостей я и ступить не могла. Особенно докучал один грех; с ним-то я и поехала на исповедь. Я не знала, кто будет служить в тот вечер, но уже тогда чувствовала потребность исповедаться у кого-то одного. Как раз служил отец Александр, а на исповедь была я одна. Почти час батюшка будто длинным крючком вытягивал из меня корни моей беды (нерв из зуба удалять легче). Несколько раз он вставал на колени, ставил меня рядом и горячо молился. До меня доходил, как сквозь сон, смысл молитвы: он испрашивал у Господа милости ко мне, просил защитить меня от нападков дьявола. Эта исповедь, эта молитва и решили мой выбор. Через год я попросила отца Александра быть моим духовником. К тому времени я уже была готова принимать все его советы.

Первые шаги в вере. Вопросов — тьма. Вот один: как правильно постить детей? — и короткий ответ: «Не лукавя». С тех пор этот ёмкий завет батюшки постоянно со мной во всех жизненных ситуациях, а не только относительно поста: жить не лукавя. Ни в чём.

Как-то посетовала на сильную отвлекаемость во время служб. То на одежду загляжусь, то на выражение лица. Беда ещё и в том, что следом за этим и мысленное осуждение тут как тут. «Во время службы смотри в пол или на иконы». Это второй завет, о котором, к сожалению, я до сих пор часто забываю. А зря!

«Враги человеку — домашние его». Трудно было в начале пути, когда тебе кажется, что ты видишь Свет, а твои домашние ну никак не хотят Его замечать, да ещё и тебе мешают. Сильно я обижалась и на отца, и на мужа; отношения в семье стали мучительными от взаимного непонимания. И тут — мудрое и доброе слово батюшки: «Как ты назовёшь человека, который не видит? Слепой. А человека, который не слышит? Глухой. А отказывающегося от еды? Да, конечно же, больные они... Так ты и относись к ним как к больным: с заботой и любовью». Вот в этом ключе я и старалась строить свои отношения с домашними. Жалуюсь как-то батюшке, что на мужа ругаюсь, когда выпивши с работы приходит. Он с улыбкой, выражающей самое что ни на есть сочувствие, спрашивает: «Много силы тратишь на ругань-то?» — «Мно-о-ого», — отвечаю. И слышу неожиданный для себя ответ: «А ты эту же силу на любовь потрати!» В результате повенчались сначала мы с мужем, а потом и отец с матерью. Причём отец втайне от меня и от мамы съездил к отцу Александру на исповедь и только потом сказал маме о своём желании венчаться. Венчал моих родителей в день их золотой свадьбы отец Александр.

Лесосибирская община крепла, появились новые батюшки, много новых прихожан, много духовной и псевдодуховной литературы. Появились первые паломники... Появились и первые нестроения как между священниками, так и между прихожанами. «Я — Андреев, а я — Павлов», — история не новая. И снова, как щит, слова духовника: «Не примыкай ни к каким группировкам, выбери серединный путь. Молись, трудись, ни о чём не печалься, плачь только о грехах своих».

Именно этот щит помог мне устоять и в более поздние времена, когда не только нестроения тревожили, а и раскол стал проникать в тело Церкви. Новые паспорта, ИНН, штрих-коды, когда вместо радости обретения веры стал душить страх, когда родные по духу люди становились чужими. «Тело Христово всегда распинаемо, ты этому не удивляйся, а кликушество на Руси — тоже не новость», — и снова и снова советовал он мне держаться «золотой середины».

Никогда не забуду нашу совместную поездку в Никулино на освящение памятника жертвам сталинских репрессий в 1996 году. Причин, чтобы не забыть всё, много, однако расскажу ещё об одном моменте. Почти семьдесят лет в этой глухой деревне на Енисее не бывало ни одного священника. Люди просили батюшку о крещении. Программой этого события (то есть установки памятника и встречи потомков репрессированных) крещение, конечно же, не предусматривалось.

Торжество заканчивалось в сельском клубе концертом и обильным застольем, на котором были и мы с батюшкой. Отец Александр предварительно сказал желающим креститься о необходимости огласительной беседы и исповеди. Но вот уже стало смеркаться; веселье шло полным ходом, когда мы с батюшкой тихонько вышли из клуба, решив, что никакого крещения не состоится. Правда, перед этим я напомнила нескольким жителям об их желании. Как же приятно мы были удивлены, когда заметили вереницу женщин и мужчин, идущих за нами следом. Батюшка сказал мне тогда всего три слова: «Вот это — гармония!»

Он почти до утра беседовал, исповедовал, а на восходе солнца крестил в Енисее семнадцать человек. В девять утра мы уже уезжали на теплоходе в Енисейск. А эти три забываемых слова стали для меня ещё одним уроком. Эти слова помогли мне быстро адаптироваться в деревне, куда мы переехали по благословию батюшки, и создать там общину.

Моя сестра во Христе, которая к тому времени уже дважды стала мне кумой и с которой нам довелось пройти бок о бок первые шаги и в вере, и в организации общины в Лесосибирске, и в проведении первых служб, уезжала в монастырь с желанием принять постриг. Тяжело далось мне это расставание — идти к Богу не в одиночку всегда легче. И тут отец Александр помог единственной фразой — как припечатал. На вопрос: «Как же я смогу без неё?» — ответил: «Ты без Бога не сможешь!»

Часто помогали мне эти слова переносить неизбежные расставания с друзьями, с детьми. Они же помогли мне менее болезненно перенести расставание и с самим батюшкой, когда он переезжал в Курагино.

Период неофитства. Желание успеть во всём и везде. «Жатвы много — делателей мало». А так хотелось быть «делателем». Причём делание происходило часто в ущерб миру в семье, так как я свои обязанности жены, матери, дочери стала выполнять или не совсем должным образом, или в ущерб своему здоровью. Разными путями возвращал меня Господь на своё место (семья-то большая), а я вырывалась, своевольничала, пока не случился инсульт. После этого, сколько бы ни просилась я у батюшки вернуться работать в храм или в школу, — не благословлял. Семья и только семья, и дела милосердия по мере сил и возможностей. К крепости семейных уз у батюшки было отношение однозначное. Ушёл один из моих сыновей из семьи и приехал в родительский дом. Говорю об этом отцу Александру и слышу гневное (впервые!): «Какая же ты мать, если сына приняла от семьи?!» Много молитв, много сил душевных надо было потратить, чтобы семья восстановилась, но толчок к этому дал батюшка...

И переезд в деревню через два года благословил. В Малой Белой батюшка милостью Божьей с помощью своего духовного чада построил

храм во имя пророка Илии и приезжал туда служить, насколько позволяла возможность второго священника в Успенском храме. В пяти километрах от Малой Белой (в Мариловцево) мы купили домик, и отец Александр благословил нас с мужем служить каждое воскресенье в этом храме братские службы. Наш переезд в Мариловцево день в день совпал с переездом батюшки в Курагино. Наши встречи стали несчастными (два-три раза в год более чем за тысячу километров отец Александр приезжал в нашу маленькую деревеньку). Но зато какими они были яркими и запоминающимися!

Жаркое лето. Лежу пластом с высокой температурой. Ангина. Почти не могу говорить. Вдруг слышу родной голос. Мерещится? Нет, это батюшка... И сразу — мысль: да как же он здесь очутился? Ведь моста-то ещё нет (мост через Кемь сносило ежегодно, и его восстанавливали полтора-два месяца). Оказывается, он оставил машину на другом берегу, а сам вплавь перебрался на наш, и тут уже мужики привезли его, мокрющего, на мотоцикле к нам. И только когда муж увёз его обратно, чтобы переправить к машине, я вспомнила, какой это был день. Это было тридцатое июня — день моего крещения, день ангела. Знать этого батюшка не мог, как не мог он знать и о моей болезни. Он просто почувствовал свою надобу в этот момент — и оказался рядом. Вот такой дивный подарок был мне однажды на день ангела.

В связи с этим мне вспоминается ещё один его совет: «Надо уметь очень чутко слушать Бога». Батюшка умел. А я только удивлялась этому умению... Кстати, на следующий день ангины у меня как не бывало!

А вот ещё одна встреча. Мне сообщили, что отец Александр приехал в Енисейск (надо отметить, что быстрая связь деревни с миром была только по телефону в конторе, который частенько бездействовал). Вопросов накопилось много, и я утром раненько поехала в город. Подхожу к домику, где жили родители батюшки, обхожу вокруг, стучусь в окна и двери, так как замка снаружи нет. Никого! Расстроенная, иду в Успенский храм, но, не доходя до него несколько метров, вдруг резко разворачиваюсь и бегу обратно. В мозгу, как молот, звучат слова из Евангелия: «Если бы вы имели веру с зерно горчичное...» Подбегаю к дверям и с молитвой: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа — откройте!» — берусь за ручку, и... дверь открывает мама отца Александра. Я оторопела. Говорю: «Я же ещё не успела постучать. Как же вы открыли?» В ответ: «А я решила проверить, заперта ли дверь, и... почему-то открыла. А отец Александр к вам в деревню уехал — значит, вернётся скоро».

В одну из зим сильно лютовали медведи-шатуны. Только в округе погибли четыре или пять человек. По утрам боязно было к скотине выходить, а ходить в храм по лесу пять километров туда и обратно — ещё страшнее. Но люди уже привыкать стали к службам. Что делать? Думаю: раз боюсь — значит, веры маловато. С другой стороны,

искушать Господа — тоже грех... Выход один: пишу письмо батюшке, жду ответа. И ответ пришёл быстро. В письме батюшка говорил о помысле и о геройстве и просил меня не геройствовать, а молиться, чтобы Господь открыл путь. Возобновили мы наши службы уже ближе к весне.

Как-то я сказала батюшке сокрушённо: «Да меня за мои грехи наказывать и наказывать надо, а вы жалеете!» Он покачал головой и ответил: «Ну, тогда ищи себе другого духовника!» Я оцепенела! А он улыбнулся и сказал: «Почитай Германа Гессе». И среди рассказов и повестей любимого батюшкиного писателя я нашла то, о чём он думал в тот момент. И поняла, насколько действеннее его искреннее сокрушение о моих грехах, его молитва, дышащая любовью и надеждой на моё исправление, нежели строгое внушение или епитимья. Хотя однажды батюшка сказал резко и очень холодным тоном: «А вот это плохо!» Дело в том, что где-то на седьмом или восьмом году своего пути к Богу я несколько раз говорила батюшке: «Мне кажется, я совсем не меняюсь: я ничуть не приблизилась к Богу...» Всякий раз батюшка отвечал по-разному, но когда он сказал своё: «А вот это плохо!» — да ещё как сказал! — я призадумалась крепко. Это был сильный толчок в нужном направлении, этакий увесистый шлепок отца вконец обленившемуся дитяти.

Курагино, 2006 год, одиннадцатое сентября. Отец Александр серьёзно болен. Приехала его попроведать специально перед именинами, чтобы можно было поговорить без суеты. И мне повезло! День был ясный; и ему нужно было выкопать картошку. Весь день (как никогда!) мы были на огороде вдвоём, делали не спеша доброе дело и говорили, говорили... Обо всём успели поговорить — о детях, о его задумках, о моих проблемах... Но главное меня ждало впереди. Управившись с картошкой, мы пошли в храм. Как-то сам по себе начался разговор о смерти. Я рассказала ему, как умирала мама, батюшка — о земных потерях, о своей болезни, о своём отношении к близкому переходу в мир иной, о том, что в нём самом изменилось за последнее время и что ещё нужно изменить, и в какой-то момент я поняла: да ведь это исповедь! Я не хочу и не могу писать то, что слышала; скажу только одно: это для меня был урок мужества. Мне показалось, что в какой-то момент я поняла, как надо умирать... И всё-таки хочу озвучить один фрагмент: «Я столько напутствовал в мир иной, столько утешал при потере родных и близких, а теперь стою сам перед собой. Знаю, что настал час испытания моей веры. А готов ли я чувствовать, думать, поступать так, как учил других? Смерть рядом — но знаешь, несмотря на то, что я прохожу все этапы лечения, я отчётливо понял, насколько духовное здоровье важнее телесного». Мы взобрались на колокольню, и Анечка, дочка его, сфотографировала нас. На фото я смотрю с колокольни вниз, на землю, а отец Александр — в небо. Он смотрел туда, куда уже готов был уйти, куда и ушёл через одиннадцать месяцев.

Через два месяца после той встречи мы встретились снова, уже в последний раз. Это случилось в Красноярске, после концерта В. Толкуновой, на который я приехала из Лесосибирска с детьми из православной гимназии. Батюшка в это время тоже был в Красноярске, на лечении, и, узнав, что я здесь, подъехал к окончанию концерта к залу. До отхода автобуса в Лесосибирск оставалось десять-пятнадцать минут. Мы сидели в его машине; разговор был сумбурный: батюшка делился впечатлениями о поездке в Афон, я, как всегда, — с вопросами; но тут я увидела своего внука Тимофея, который уже подходил к автобусу, и окликнула его. Шестнадцать лет назад отец Александр крестил его, и больше они не виделись. Пока Тимофей подходил к машине, я в нескольких словах рассказала о мечте внука поступить в духовную семинарию, и когда тот подошёл, батюшка вышел из машины. Я не слышала их недолгого разговора, но видела, как плавно легла добрая батюшкина рука на голову моего внука. Благословил... Вышла и я из машины. И тоже получила последнее земное благословение отца Александра. Почему земное? Да потому что не оставляет он меня, своё чадо, и сейчас без своих молитв и забот.

Ещё расскажу об одном случае (далеко не единственном), последнем. 2010 год. Лежу в больнице. Перенесла две операции, готовят к третьей. Мнения врачей разделились: делать — не делать. От такой неопределённости охватывает уныние. Молюсь святому Луке Войно-Ясенецкому и прошу подкрепления духовных сил у батюшки. Приходит дочь, а глаза сияют: «Мама, угадай, что я тебе принесла! Ты сейчас так обрадуешься!» Спрашиваю: «Письмо?» — «Да». Начинаю думать: чьё же это письмо меня может так обрадовать? — а у самой даже сил на улыбку не хватает. И подумалось о том, что один-единственный человек мог бы мне сейчас помочь, да нет его здесь... И говорю дочери: «Нет, моя хорошая, оттуда письма не приходят...» А она мне: «Приходят, и ещё как приходят!» — и достаёт сложенный листок с фотографией. На фото — могилка отца Александра, вся в цветах, а на листочке — стихи его духовной дочери Параскевы. Неслучайная весточка из Курагино. Прижала я к груди это послание, плачу и смеюсь от радости, и дочь вместе со мной плачет и смеётся. Сопалатницы мои ничего понять не могут. А на следующий день (ровно на сороковой после второй операции, в день сорока Севастийских мучеников) меня выписали домой. Так вот всё определилось, и третья операция не понадобилась.

Отец Александр был скуп на слова; может, потому они так и запоминались?

Он никогда ничего не запрещал, он лишь говорил: «Не полезно...» — и это действовало лучше всяких запретов, потому что оставалась ещё и твоя воля для принятия решения.

«Каждое слово, каждый поступок должны иметь логическое завершение». «В чужом храме веди себя согласно обычаям этого

храма — пусть душа твоя ничем не смущается». «Для монахов — молитва и труд, а для тебя — труд и молитва. Молитву не оставляй». И много ещё в нужный момент вспоминается наказов отца Александра. Я их зову «вешки», потому что они мне теперь идти помогают, помогают не сбиться с пути.

Мария Кузьмина

Отчий дом

Как часто ты снишься мне, старый деревенский дом в едва теплящейся жизнью деревушке Каменке! И пока я живу на этом свете, будут царапать душу воспоминания о родительском гнезде. Я вижу тебя добротным, весёлым, с яркими ставенками и наличниками, которые подкрашивались каждое лето, с черёмухой и астрами в палисаднике, с гостеприимно распахнутыми воротами. Входи, добрый человек! Щедрые и открытые жили здесь хозяева, мои мать и отец, вырастившие нас, шестерых детей.

Построен дом был в 1910 году, после большого пожара, уничтожившего большую часть села. На пепелище два брата Соколовы, Мирон и Алексей, стали строить новую избу. И хоть строились второпях (надо было вселиться под крышу до лютых морозов), рубили жильё добротно, брёвна клали «в лапу», утепляли, не жалея мха. Жили в пятистенке два семьи; потом Алексей с семьёй уехал, и весь дом остался Мирону Степановичу, моему деду. Прорубили дверь во вторую половину, убрали лишнее крыльцо, ворота. За почти вековую жизнь дом благоустроился: поменяли нижние сгнившие венцы, подвели фундамент, пристроили ещё две комнаты, сделали отопление. Нам, детям, было хорошо в родительском доме, возле наших родителей. В селе была только школа-четырёхлетка, поэтому в пятый класс приходилось уезжать из дома «в люди»: жили у родни, в интернатах, но на каждый выходной торопились домой и сколько слёз пролили, когда замерзающий или несущий весенний лёд Енисей закрывал дорогу домой!

Никогда родители не жили богато, но уж огромная кастрюля борща и чугунок каши всегда стояли на печке. Хватало и семье, и многочисленным родственникам, постоянно у нас гостившим.

Помню, держал отец пасеку. Всего три-четыре улья, чисто для семьи. Летом обеденный стол у нас стоял во дворе. Так вот на этом столе всегда стояла чашка с мёдом, и все наши друзья лакомились им. А мы не успевали таскать им калачи из кладовки. Хлеб тогда в магазинах не продавали, мама через день творила квашню (так у нас в селе говорили, именно «творила») и сама стряпала буханки и калачи. Так вот, бывало, приведя во двор почти всех деревенских ребятишек, мы часто уничтожали весь предназначенный на два дня запас хлеба, макая его в мёд и запивая из ковша водой. Мама, конечно, ворчала, но никогда никого не прогнала, не оговорила.

Выросли мы, обзавелись семьями, забегали по просторным горницам внуки. Семнадцать внуков считали этот дом своим. Потом деревня Каменка развалилась: негде стало работать, и жители стали разъезжаться кто куда. Остались наши старики одни в старом доме. Но не было дня, чтобы кто-то не попроведал их. А в субботу, после бани, накрывался в самой большой комнате длинный стол, и садилась вся наша семья, человек около тридцати. Наверное, тихо радовался наш дом, видя такое многолюдье. В этих стенах угасали споры и распри; даже будучи недовольны друг другом, здесь мы мирились. Все семьями съезжались сюда делать большую работу: белить, сажать огород, копать картошку.

В отчем доме отметили мы родительскую золотую свадьбу. А вскоре принимал он снова нашу огромную родню, но уже входили мы в комнаты в слезах и горе: умерла мама. И сразу опустел дом. Оставался в нём отец; постоянно кто-то из детей или внуков был с ним. И всё-таки дом как-то затаился — наверное, понимал, что вскоре совсем уйдёт отсюда жизнь. Он был прав: прожив почти пять лет без мамы, отец сильно сдал, стал плохо видеть, плохо ходить и согласился наконец переехать ко мне в Городище.

У всех нас рвалось сердце, когда грузили вещи отца в машину. Братья хмуро молчали, мы, сёстры, плакали в голос. Дед наш держался, бодрился, но ему-то было тяжелее всех. Мы оставляли целый мир, в котором нам было хорошо, который был нужен нам и который объединял нас.

Мы не надеялись найти покупателей в нашей забытой Богом деревушке. Значит, дом должен был остаться один, как брошенный старик, поджидающий свою смерть. Но, наверное, наш отчий дом всё-таки был очень добрым — он понравился одной приезжей семье, и его купили. Теперь там живут другие люди, звучат другие детские голоса. Но я рада, что он не умер; из трубы идёт дым, расчищен мостик возле ворот, открыты двери гаража. И всё же, проезжая по трассе мимо Каменки, я жадно ищу взглядом знакомую крышу. Как ты, мой родительский дом? Не сердись ли на меня? Не сердись, пожалуйста, я и так чувствую себя виноватой.

Полудница

Не знаю, из каких глубин народного творчества пришло в нашу семью это удивительное и таинственное существо — Полудница. Нас у родителей росло шестеро ребятишек, и мы с раннего детства знали, что если закапризничаешь сверх меры, «заурисишь», как у нас говорили, — мигом явится эта Полудница, сунет в мешок и утащит к себе в логово. Жила она, по рассказам взрослых, в огороде: летом — в густой картофельной ботве, зимой — в сугробе у городьбы. Огород у нас был большой, выходил задами на гору, называемую Басовой горою, и с этой горы стекал и струился по меже ручей. Весной он

превращался в небольшую речку, а летом тѣк еле-еле, но всё же наполнял ямку, где мы брали воду для полива огурцов. Эта часть огорода была сырая, росли там крапива, репей, кусты дикой смородины, черёмухи и вербы. Место, по нашему детскому разумению, дикое и опасное. Вот там-то, по словам старших, и обитала Полудница. Мы не понимали, как это родители не боятся её и именно там выкладывают по весне навозные гряды для огурцов, объясняя нам, что здесь ближе брать воду для полива. Мало того, когда мы подросли, поливать огород было нашей обязанностью, и мы ужасно трусили, если работать приходилось уже после захода солнца, — ведь в этой части огорода становилось совсем сумрачно, поэтому таскали воду вдвоём или втроём, старались погромче разговаривать и всегда были готовы задать стрекача при малейшем подозрении, что из зарослей кустов кто-то сейчас появится.

Конечно, нас всех живо интересовало, какая она, эта Полудница, и откуда взялась. На это бабушка и мама нам рассказывали, что явилась злая старуха из леса, одетая в красную юбку, красную кофту и такой же платок; на ногах — бродни, сама вся косматая и курит трубку. Эта деталь особенно нас впечатляла. Была у нас в селе курящая баба — тётя Нюра Анкудинова, но та всё же курила папиросы. Да и из мужиков трубку не курил никто — а вот наша Полудница курила именно трубку. Дальше бабушка повествовала, что огородная жительница очень не любит непослушных ребят, знает, когда они без спроса идут купаться на Енисей, может поймать, если отправятся на мост через Каменку (куда ребятишкам строго-настрого ходить запрещалось — опасное было место) или пойдут к старой ферме полакомиться пучками. Во многих местах могла нас подстергать Полудница со своим вместительным мешком. Мы, конечно, всё равно ходили туда, куда запрещалось, но не раз пугливо оглядывались и держались тесной компанией, если уж приходилось проходить мимо каких-нибудь зарослей. И обязательно кто-нибудь из мальчишек заводил разговор о том, что тех из нас, кто потрусилей, Полудница цапает в первую очередь. Мои братья, хоть и были младше, заводили эти речи для меня. И всегда достигали цели.

У наших деревенских друзей тоже были свои Полудницы — у кого на вышке, у кого за баней, у кого в завозне. В огороде жила только наша. Мы настолько верили в существование этого персонажа, что даже не раз видели мелькнувший в картофельной ботве красный платок или идущий из трубки дымок.

Как-то раз (мне было уже лет двенадцать) мы с братьями сбрасывали с крыши снег. Дело было в марте, весь «опасный» угол огорода засыпан снегом. Почему-то мы вспомнили о Полуднице и стали спорить, где может быть её дом. «Смотрите, смотрите, она вылазит!» — закричал вдруг Алёшка, брат. У него было такое лицо, что

мы не стали больше всматриваться, поверили ему на слово и наперегонки рванули к лестнице, чтобы слезть. Больше в этот день мы на крышу не полезли.

Конечно, когда мы подросли, наши детские страхи ушли. Но эта мифическая «дама в красном» перекочевала в жизнь наших детей. У родителей нас шестеро, да плюс ещё семнадцать внуков. Каждое лето нас собиралось в отчем доме до двадцати человек. Когда ребята, особенно перед сном, начинала «отрываться по полной» и не слушала никаких увещаний, мы, как бы между прочим, начинали рассказ о Полуднице. Мы придумывали о ней разные истории, нестрашные, чтоб уж совсем детей не напугать, но назидательные и с намёками. И мои дети, и племянники слушали, затаив дыхание, а если кто-то слишком смелый пытался усомниться в этих рассказах, то мигом получал подтверждение от самой Полудницы. Раздавался тихий стук в окно. Это младшая наша сестра, Наташа, незаметно выскользнув из комнаты, стучала в какое-нибудь из окон большого родительского дома. Ребятишки сбивались в кучку и засыпали.

Теперь уже и мои дети, и племянники давно стали взрослыми. Нет наших родителей, нет родового гнезда. Но мы все стараемся держаться вместе, радуемся, когда собираемся у кого-нибудь за столом, и вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем...

А я совсем недавно нашла в Интернете, что же всё-таки представляет из себя Полудница. Оказывается, это женский мифический персонаж, относящийся к сезонным духам, появляющийся в поле именно в полдень во время цветения или созревания хлебов. Полудница появлялась только летом, рождалась и умирала вместе с полем. В более позднем варианте она выступала в роли персонажа, которым пугали детей, чтобы те не лазили в огороды и сады.

Вот наша Полудница как раз и была такой. Мы вспоминаем о ней с лёгкой грустью и теплотой. Ведь она из нашего детства, из нашего заброшенного теперь села, из родного дома и огорода.

Гамлет Арутюнян

Шестьдесят четыре года — возраст достаточно солидный. Но Гамлет выглядел очень молодо. Это замечали если не все, то многие. Красивый крупный мужчина в расцвете лет. А что старит человека? На мой взгляд — расслабляющие тепличные условия и озлобленность. И того, и другого он был лишён, можно сказать, с рождения. При кажущейся на посторонний взгляд успешности, жизнь его не баловала. Родители, Евдокия Дмитриевна Давыдова и Арменак Ованесович Арутюнян, встретились в енисейской деревне Каргино, куда были высланы после лагерей. Мать отбывала срок в Дубровлаге, отец — на легендарной 503-й стройке. Оба — по печально известной полста восьмой. Как жилось эковским детишкам, представить, надеюсь, можно (хотя бы приблизительно). Почва для озлобления обильно удобрялась и оскорблениями, и унижениями, а порою и поливалась кровью. И потом, когда окончил институт, уже в более-менее сытые и спокойные времена, досталось в полной мере испытать на себе изнуряющие психику проволочки с защитой диссертации. Всё это могло довести до отчаяния. С публикацией стихов было ещё хуже. Но он терпел и работал. Другой бы надорвался под тяжестью этого терпения. Прожорливые черви обиды выедают в человеке доброту. Но матушка наделила Гамлета этим качеством с избытком. Не надо думать, что он легко забывал обиды. Помнил. Но умел прощать и всегда приходил на помощь не только к близким, но и к совсем посторонним людям. Даже к тем, кто цинично и беззастенчиво пользовался его добротой.

Известие о его болезни было ошеломляющим. Никто не хотел верить.

Но сам Гамлет это предчувствовал — не как врач, а как поэт, ещё раз подтверждая гипотезу, что поэты награждены (или наказаны?) пророческим даром.

Перед вами подборка стихов из его последней книги «Не студи душу, хиус», которая была сдана в издательство до того, как Гамлет узнал о роковом диагнозе. Прочтите её — и всё поймёте.

Сергей Кузнецихин

* * *

Плакальщицы оделись в чёрное,
Приготовились петь.
Каждому из нас придётся умереть.

Молчальники оделись в чёрное,
Приготовились молчать.
Надо ли о печали кричать?

На тебя надели ту одежду,
Которую ты любила.
Неужели всё это на свете было?..

Когда прижимала к груди,
Успокаивала: — Сынок, не горюй!
И посылала в губы ласковый поцелуй.

Потом, когда стал я постарше:
— Господи. Не ленись!
В комнате, милой комнате
Всё-таки уберись.

В стайке у нашей коровы
Вычисти всё добро...
Корова ныряла по брови
В сладостное ведро.

Снег во дворе почисти.
Дрова поколи и сложи...
Так мы тихонько выросли
Средь государственной лжи.

Но стол был застелен скатертью,
Топилась дровами печь.
Казалось, что с нашей матерью
Лишь с лаской на мир смотреть.

Только плакальщицы оделись в чёрное,
Приготовились петь.
Молчальники оделись в чёрное,
Приготовились молчать.

MORTISETVITAELOCUS¹

*И странной близостью закованный,
Смотрю за тёмную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.*

А. Блок

I.

Шоссе шумело, словно мельница,
И без листвы, совсем нагое.
А по нему одна метелица
Водила снежною рукою.

И я попал под это крошево.
Стоял, сутулясь, у обочины.
Как будто мальчик, всеми брошенный,
Или как домик обесточенный.

И я шептал: — А где же мама?
Она ведь рядом шла со мною.
Была и ночью тёмной самой,
Была и летом, и зимою...

И так, под ветра вой со свистом,
Стоял, взрослея, у дороги.
Лишь освещён луной расхристанной.
От холода промёрзли ноги.

И мне казалось: в тёмной дали,
Где был чуть светел небосвод,
Там птицы сизые взлетали,
Крылом касаясь глади вод.

Но вот одна из них взметнулась
И крыльями пронзила мглу.
Она ко мне летела в юность
Подобно гордому орлу.

Но ветер бил по крыльям жёстко,
И снежной веяло тоской.
Она упала на берёзку
И там, под ней, нашла покой.

1. Между жизнью и смертью (лат.).

2.

Шоссе шуршало, словно кобра,
И извивалось, как удав.
Над ним носился ветер злобно,
Ночные тучи разметав.

И все предзимние окрестности
Во мгле лишь виделись едва,
Домишки старые и тесные,
И мельницы, и жернова.

С тревогой всматриваясь в небо,
Шептал там мельник: — Бог ты мой!
Там шабаш ведьм. И быть ли с хлебом
Нам этой долгою зимой?

И множились земные страхи,
Ползли змеёй к нему во двор.
И только мирные монахи
Спокойно ждали приговор.

Они смотрели долго в небо,
Потом молились у икон.
И в тех молитвах — быль и небыль,
Как при распятье боль и стон.

3.

Шоссе шипело, как яичница
На сковородке.
Над ним, светловолоса, грешница
Плыла на лодке.

И тонкий лик лишь проступал
Высоко, мглисто.
Она увидела Урал,
Его мониста.

Она увидела Байкал —
Мерцало зеркало во мраке,
Среди сибирских серых скал
Пылали огненные знаки.

Бежало в глубь тайги зверьё —
Медведи, соболя, лисицы.
Кружилось только вороньё —
Найти б чем поживиться.

Сильней сгущалась ночи мгла.
Как светляки, мерцали звёзды.
Она смотрела и ждала,
Вдыхая разрежённый воздух.

И вдруг увидела меня
Средь мглы дорожной...
И вот уже на лодке я —
Плыву тревожно.

ЭПИТАФИЯ

I.

Прощайте, любимые,
мне не угнаться
за этим смещением
дней и ночей.
Мне ниже и ниже
главою склоняться.
И лечь в эту землю
без громких речей.

Я тоже был лёгкий,
я тоже был смелый
и женщину каждую
нежно любил.
Молчат мои губы,
молчит мое тело
среди сотен российских
промёрзших могил.

Эх, надо бы лучше!
Эх, надо бы звонче!
Эх, надо бы выше,
да, видно, устал.
И друг закадычный
мне что-то бормочет
и грустные строчки
отправит в журнал.

II.

Ничем не измерить
потерю, утрату.

Ничем не заполнить
души пустоту.

Любите друг друга,
как брат любит брата,
как день любит солнце,
как ветер — мечту.

Не надо прощаться,
ведь всё поправимо.

Не надо прощаться,
ведь всё впереди.

И строчки, как птицы,
проносятся мимо...

И чем-то окончатся
птичьи пути?

И в час, когда звёзды,
как капли свечи,

на землю ночную
всё падают, падают,

ты лучше всего
посиди, помолчи.

Глядишь, и кого-нибудь
строчки порадуют.

Исчезнет тогда
ощущенье беды.

Почувствуешь, что
не растратил весь порох.

До встречи, любимые!

Наши сады
опять расцветут
на задёрнутых шторах.

* * *

Укрылись под земною толщей отец и мать...
Неужто не устал ты, как прежде, рифмовать?

Неужто вновь тебя терзают былые дни?
Уймись, уймись, ведь исчезают во тьме они.

А ты всё так же наблюдаешь приход зимы,
Лишь время тихо ускользает в закат земли.

Стою один у двух пригорков — под ними мама и отец —
И думаю: ох, как не скоро я стук забуду их сердец.

И шепчет ласково: — Уймись! — моя земля. —
Ты был весёлым в этой жизни и жил лишь для...

Под равнодушным этим небом меж двух сердец
Взлечу, взлечу в глухое небо, как скворец.

ПЕРЕКРИЧАТЬ ВЕТЕР

Эта снега круговерть —
Торжествует смерть.

Эта снега тетива —
Хуже воровства.

Этот ветер — лишь в глаза.
Обойти нельзя.

Эта темень, в горле ком —
Верится в добро с трудом.

Это вещие слова,
Что сильнее, чем тетива.

ТАНЕ

Когда ты выходишь из дома,
Светлая, словно радуга,
Мыльные пузыри моих грёз
Лопаются на ветру.
Господи, дай ещё миг.
Вместе порадуемся.
Пока я с тобою рядом —
Конечно же, не умру.

* * *

Я стану дождём,
любящим свою землю.
Не тем, летним,
сиюминутным шалунишкой,
а дождём-тружеником,
дождём,
которым нагружены
тяжёлые баркасы туч.
Я выпаду там,
где от жажды
сгорают посевы,
где высохли реки
и рыбы ждут разлива,
где среди многих
притулился твой огородик, мама.

* * *

Эта звёздная,
Эта звёздная нить!
Не успеешь родиться —
Пора уходить.

Вадим Ярцев

Жажда реванша

БЕССМЫСЛЕННЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ

В России — бунт. Топор и плаха.

В затылок — пуля. И петля.

И буржуи, трясясь от страха,

Бегут — как крысы с корабля.

Забыв про яхты и отели,

Они уходят кто куда...

Вы сами этого хотели —

Так получайте, господа!

Россия ждёт небесной манны.

Ей кровь людская нипочём.

Ей по душе пришёлся пьяный

Казак Емелька Пугачёв.

Налево глянешь иль направо —

Одни горелые дома.

Под свист разбойничьей оравы

Сошло Отечество с ума.

А мне-то, мне куда деваться?!

Как утаиться от беды?

Ведь мне — за сорок, а не двадцать,

И со здоровьем нелады.

Куда прикажешь смазать лыжи?

Когда-то — был, да вышел весь.

Меня никто не ждёт в Париже.

Мой выбор прост. Останусь здесь.

Конечно, выбор не из лучших.

Но что поделать? Ничего.

«Господь, — скажу на всякий случай, —

Раба помилуй своего».

В стране проклятой несвободы

Да будут дни мои тихи!

Я буду делать переводы,

А по ночам писать стихи.

Пройдёт гроза, утихнут бури,
Шторма закончатся — и вот
Мы будем приобщать к культуре
Остервеневший свой народ.

Сосед доносит на соседа,
Жена — на мужа, сын — на мать.
Течёт сердечная беседа
В подвалах тюрем. Скоро брать

Кого-то будет трудновато.
Здесь — ни одной живой души.
Ведь если брат стучит на брата —
Дела не очень хороши.

А если Несторы и Стеньки
Меня решат поставить к стенке,
Что мне сказать им у стены?
Скажу: «Ну что, залили зенки?
Стреляйте, сукины сыны!»

* * *

Мы пили холодную водку,
Ругали больную страну,
А мне, как голодному волку,
Хотелось завывать на луну.

На эти проклятые звёзды
Заухать безумной совой...
Да поздно — я знаю, что поздно!
Тяжёлой мотну головой.

Страна, я оглохну от лая
В кошмаре твоих лагерей.
Не жаль мне царя Николая,
Но жаль мне его дочерей.

Живу и с властями не ссорюсь,
Тем более по мелочам.
И только к подпившему совесть
Приходит скулить по ночам.

Откуда мы вышли, откуда?
С каких рубежей и веков?
Какой новоявленный Будда
Обманет нас, словно щенков?

* * *

Зловещие слухи ползли по Руси,
Как тучи в ненастье по мутному небу.
Надвинулся голод — хоть землю грызи.
Сгорел урожай — и ни зёрнышка нету.

По-чёрному пьёт государь-император,
И с ним за компанию — глупенький зять.
Царь лыка не вяжет — и этому рада
Придворная челядь. Что с пьяного взять?

Господь отказался хранить и беречь нас.
Вот-вот над страной разразится гроза.
Хихикает нечисть, куражится нечисть,
Гримасы нам корчит, смеётся в глаза.

В Казани видали, как плачет икона.
Безверье своё мы ещё проклянём.
Россия сгорит. Будет дымно и голо —
И ночь, что наступит, не сменится днём.

Телёнка видали о двух головах,
Младенца беспалого где-то видали...
И слухи скрипели на жёлтых зубах
И в наших нетрезвых умах оседали.

В том памятном, хоть и далёком, году
Негромко, с оглядкой, старухи-кликуши
Вещали нам гибель, огонь и беду —
И мы подставляли заросшие уши.

Смутянов хватали, сжигали в кострах,
Ссылали на север, в церквях проклинали,
Но помню, что нас обволакивал Страх —
И в эту годину он властвовал нами...

* * *

Одним — дворцы, другим — бараки.
Одним — ещё, другим — уже...
Схлестнёмся мы в кровавой драке,
В хмельном и диком кураже.

Не устоять вам до рассвета,
Как ни юродствуй, ни визжи,
Когда мы пустим в ход кастеты
И самодельные ножи.

Ничто не будет позабыто.
Вы нас в ярмо впрягли, как скот.
Вставай, затоптанное быдло,
Дави зажравшихся господ!

Но свет в глазах моих потухнет,
И щёки мне зальёт стыдом,
Когда на землю молча рухнет
Омоновец с пробитым лбом.

Кой чёрт занёс тебя, ровесник,
В остервеневшую толпу?
Кому теперь ты нужен, если
Дыра в твоём зияет лбу?

Когда-то мы друг друга знали.
Как ты продался им — Бог весть.
Зачем ты с ними, а не с нами?
Зачем ты здесь? Зачем ты здесь?

ЖАЖДА РЕВАНША

Война проиграна. Почти.
Народ поставлен на колени.
Ещё иные дурачки
Его зовут к сопротивленью.

Но всё давно предрешено.
Жизнь продолжается. На рынке
Торгуют водкой и пшеном
Неугомонные барыги.

Вокзал отмыт до белизны.
Садятся школьники за парты.
И щедро хлебом привозным
Нас наделяют оккупанты.

Хотя незримая беда
Не отошла, а где-то рядом,
Но входит в наши города
Забывтый ранее порядок.

Пускай в оборванных бомжей
Патруль стреляет, будто в стадо,
Зато не стало крыс и вшей.
Зато гораздо чище стало.

Зато по улицам ночным
Не бродят хлопчики с ножами.
С таким народом сволочным
Нельзя иначе. Горожане

Повеселели. Пьют коньяк.
Гуляют в парках. Ходят в бары...
Лишь в опустевших деревнях
По убиенным стонут бабы.

По не вернувшимся с войны.
По сыновьям, мужьям и братьям.
Обрезы прячут пацаны,
Чтоб было из чего стрелять им.

Деревне нужен хлыст и кнут.
Они добра не понимают.
Они пока что спины гнут
И шапки грязные снимают.

Но не извечный рабский страх,
А настороженная, злая
Таится ненависть в глазах,
Себя особо не скрываая.

Нет, здесь не будет мировой.
От оккупантов пахнет псиной.
Ещё посмотрим — кто кого,
Ещё померяемся силой.

* * *

К чему все эти споры, разброд в хмельных умах?
Вы — не простые воры, у вас иной размах.

Вы более опасны, сказать не премину.
Они — ломают кассы, вы — грабите страну.

Вы — славная команда, ребята хоть куда.
Российскую громаду скрутили без труда.

И смотрит, рот разинув, в крови от ваших дел,
Дремучая Россия на этот беспредел.

Тяните наши жилы и втапывайте в грязь —
Мы это заслужили, перед судьбой смирясь.

Лишайте нас зарплаты, пинайте, как собак,—
Мы сами виноваты, что всё выходит так.

Учите нас, что делать, держите в кулаке,
Своих холёных девок купайте в молоке.

И всё-таки, ребята, вас не спасёт ОМОН.
Наступит день расплаты — не за горами он.

Хлестнёт в окно Октябрь — и дай вам Бог тогда
Покаяться хотя бы до Страшного суда.

ВОЕННАЯ ФАНТАСМАГОРИЯ

Я ходил в рядовых, я не рвался в начальство.
Всё начальство в бою полегло в одночасье.

Всё начальство скосило свинцовым огнём.
Мы играли той осенью с гибелью в прятки.
Где таких офицеров ещё мы найдём?
Не получится. Вряд ли.

Впрочем, мне с какой стати о них горевать?
Свято место, я знаю, пустым не бывает.
Ничего не попишешь. В бою, что скрывать,
Иногда убивают.

Снайпер пулю вобьёт в твой сократовский лоб.
Мародёры обчистят тебя и вороны.
Будь ты трижды полковник — коль ты остолоп,
Не помогут погоны.

Отступаем по пояс в осенней грязи.
Материм от души интенданта-еврея.
Нехорошее время сейчас на Руси,
Невесёлое время.

Здесь, в российском котле, дьявол их разберёт,
Что мудрят наверху. И не стоит пытаться.
Дан приказ отступить — мы выходим вперёд.
Дан приказ отходить — мы решаем остаться.

Наша Господом Богом забытая часть
Третий год так воюет. И ходит в героях.
Я не знаю, кто главный при штабе сейчас,
Разбери геморрой их.

Может, лишь потому до сих пор и живой,
До сих пор не зарыт в придорожную глину.
Мы — пехота. Мы — смертники. Нам не впервой
Нарушать дисциплину.

Зацепило. Как пёс, отползаю, скуля.
Верно режет пословица: «Бог шельму метит».
Если даже и сдохну Отечества для —
Вряд ли кто-то заметит.

Не считая тех крыс, что пригрелись в штабах,
Мы ступили за грань, за которой не страшно.
Все мы — смертники. Наши делишки — табак.
Впрочем, это — неважно...

СМУТА (1612 ГОД)

Окончено страшное действо.
Настала пора оглядеться.
Участники длительной драмы,
Сняв шапки, мы входим во храмы.

Молебен отслужим во имя
Побед над врагами своими.
Закончена страшная Смута.
Невесело нам почему-то.

И в самом-то деле — на тысячи вёрст
Одна лишь пустыня, разор и погост.
Ни градов, ни весей, ни пашен —
И лик человеческий страшен.

И только гуляет разбойничий люд,
И кровь православную весело пьют,
Покинув поганые норы,
Бандиты, жиганы да воры.

Им Смута — не Смута, война — не война.
Им сладко живётся во все времена.
Вино и людская кровища —
Их самая главная пища.

От голода, холода и нищеты
Народ оступел. Мы дошли до черты,
За коей — гниенье распада.
И нечисть гниению рада.

И всё-таки так наступает предел
Людскому страданью. Народ оскудел,
Но, выжав последние силы,
Поляков изгнал из России.

Довольно хозяйничать шляхте в Кремле,
Довольно гулять по российской земле.
Всех тех, что бежать не успели,
Поглотят снега да метели.

А нам выбирать молодого царя,
Чтоб русская кровь не лилась больше зря.
А нам к ремеслу возвращаться,
С которым пришлось распрощаться.

Менялись эпохи, слетали цари,
Снаружи нас грызли, терзали внутри,
А Русь, будто феникс из пепла,
Опять оживала и крепла!

Юрий Беликов

Стань рекой, человек

ВДОЛЬ БЕРЕГА

Памяти Вилория Глухова

Учитель! Уже отросли те ветви ивы, которые ты срезал под удилица,
уже обнажила красные дёсны река...

Снасти готовы, Учитель. Иди и буди леща.

Один ведь бреду по берегу — ни Учителя, ни ученика.

Заветы твои затвержены: тюль на окне

если на что и пригоден — живца ловить для шурят,

женский чулок, хлебом набитый, вполне

рыбам на прикорм подходит — чулок даже будет рад

чувственным прикосновениям язей, голавлей,

словно поползновениям князей, королей.

Рыбы подышают на берегу реки,

они раздувают жабры, как розы.

На берегу реки не умрут рыбаки —

без берега подышают, но смысл последней просьбы

пыльного, берестяного русского мужика,

коего зона не съела, но тихо больница списала, —

по батарее холодной стук — истошней сигнала

нет! — чтобы баба снизу вынырнула, легка,

и не заговорила, видя, как очи меркнут,

а загородила, рыбонька, зеркала.

И когда баба снизу окажется сверху,

небо войдёт под ногти: «Вот и вся жизнь прошла!»

Так умереть, Учитель, если воздух шипит из нимба,

если поэта, как рыбу, жизнь завернула в газету.

Лучше не разворачивать! Чего тебе надобно, рыба?!

«Старче, в России рыбой надобно быть поэту,

чтоб укрупнять молчанья синюю чешую:

чья тишина протяжней? И разыграть ничью

с каждой челябой, то бишь ямой речной: молчите!

И на поминках звука молвить: „Прощай, Учитель!“»

КТО-ТО ВСПОМНИТ

Кто-то вспомнит, что видел меня в последний раз
переходящим в Перми из борделя в бордель.
Или как первым делом я поминал Колчака
у зрачка Ангары на виду Иркутска.
Или нет — будто мне Андрей Вознесенский
орден вручал в Золотой Орде
за высшие достижения
в области литературы и искусства.

— Это было в одна тыща триста каком-то году —
устюжане на выручку вятичам шли, да во тьмище овражной, хрипя,
посекли друг дружку. С тех пор он: «Россия, овраг — твоя чаша —
Раздерихинский, в коем своя своих не познаша.
Вспомнишь ли в том овраге меня?!
Я не вспомню в овраге себя».

— А спустя шесть столетий, во время расстрела парламента,
кто звонил в редакцию «Юности» и витийствовал: «Мне наплевать!
Запятую поставьте (тут залп!), двоеточие (пламя-то!)...»?
Ну кому же в овраге охота себя вспоминать?!

— А в две тысячи третьем году
он так истово сжал один галер
в галерее листованской с профилем Пламеневского,
будто клякса он с пушкинского пера,
и другие юродивого оболгали,
и чеканить-то профили не с кого...
Хохотал на пожаре: «Картины плывут в небеса!
Тут фамилия чиркнула, а не проводка, придурки.
Он вам пламя оставил. Ну, если — не вам, тогда — Юрке», —
кто-то вспомнит, что слышал меня.
Я не вспомню, что слышал себя.

Но зато я подслушал — твердил мужичонка на Вишере:
«Моторист я. И ниже меня — лишь вода». Ну а вы
вавилонские песни заводите: «Вы не видели? Вы не слышали?»
Есть ещё мужички-с-ноготки:
стать бы тише воды, стать бы ниже травы...

Если — стану и если меня, как ни морщи лобешники,
вы не упомните,
был кому-то я кум, односум, деверь, зять или сват,
вот тогда-то и молвите: «Полноте! Нами водят в упор не те!..
А бомжи, как шары золотые, головами легли на асфальт...»

ГАРМОНЬ, РАЗОРВАННАЯ НАДВОЕ

Я представил, что Россия, как гармонь, со мной взята,
я услышал сквозь мехов свистящий вздох,
как бегут по-на две стороны Уральского хребта
запыхавшиеся пальцы поездов.

Давит-давит-давит-давит на басы свои Сибирь,
и, по кнопочкам до струйки нисходя,
там, за Псковом, дарит-дарит откровения сивилл,
голоса в тумане, родина дождя.

Ты, одна шестая суши, расскажи: о чём звучишь?
То ли милостыню просишь, то ль сама
тем, что лезешь Богу в уши, ты частям остатним, ишь,
чудо-музыку вливаешь задарма?

«Дыр бул щыл» — совсем не заумь, а гармонь блажная та
в дырах, бульках, щелях — раны таковы.
Можно сжать её без звука до Уральского хребта
и разжать её без звука — до Москвы.

Кто гармонь к себе притиснул? «Дырбулщылит» у лощин?
Что сложить не могут рваные меха?
«ПростоДЫР...», потом — «БУЛатом...», а в концовке — «улеЩЫЛ».
Ах, не кровушкой ли пахнет от стиха?

Половина той гармонии уползает на восход,
половина уползает на закат.
Разорвали её, дьяволы! Сижу, зажавши рот.
То ли зубы, то ли клавиши летят.

РЫБА-ДЫРА

По спине глухомань-реки
свищут спиннинги-батоги,
но бегут по воде круги,
словно синие половики!
Речка бритвой срезает лески.
Собирает вода крючки.

Рыбы нету. Одни лишь всплески.
— Нету рыбы! — кричат рыбаки.

Ну а всплески, а всплески эти?
А круги по воде с утра?

Всё проверено. Ставьте сети.
Рыбы нету. В сетях — дыра.

ЗА ОГРАДОЙ

Памяти Виктора Астафьева

Я, и при жизни его не входивший в ограду,
после успенья неужто в ограду войду?..
Я не Вергилий — водить экскурсантов по аду,
где завывают пииты, как черти в аду,
машут зазывно: мол, в очередь, будешь за нами,
в чёрном зеркале надгробного камня своих
чушек не чувят, но числятся учениками,—
я за оградой уж лучше послушаю их,

здесь, рядом с женщиной, лик погрузившей в гвоздику,
через нечётный, живым лишь несомый цветок
(стебель — антенна!) на связь, выходящую — к лику
тайного мужа, в цветах понимавшего толк.

— Знали?.. — кивну. И сладимого груза лишённой
пчёлушкой, взятой на этом и том пополам
свете с поличным, отпрянет она отрешённо:
— Знала ль?.. — и спросит: — У вас не найдётся ста грамм?..
И за оградой, достав незаметно из кладя,
я передам ей заметно початый сосуд...
Видно, чем ближе, тем дальше мы к этой ограде —
будьте готовы! — которою нас обнесут.

СТАНЬ РЕКОЙ

Если музыка с левого берега
изгоняет тебя на правый,
если музыка с правого берега
изгоняет тебя на левый,
ты на правый берег не плавай
и на левый берег не плавай —
станешь рэпером Сявой
или — иноком Севой.

Выдь на калинов мост
меж двумя берегами. И стой.
Крутит белку воды в колесе
под тобой хлопотливая меленка...
Стань рекой, человек.
И пока ты не станешь рекой,
изгнан будешь ты музыкой левого берега,
да и музыкой правого берега.

ЖИВИЦА НА РАМЕ

Старая рама живицею плачет...
Вроде морили, травили и вроде
лаком её покрывали, а значит,
сделали рамой, не властной природе.

Но человек на ту раму опёрся
тёмной усталой ладонью своею,
дабы прозрел и надолго не стёрся
лёгкий стигмат заполошного клея.

Да ведь и сам ты — как старая рама!..
Вроде морили, травили и лаком
так покрывали, что Господи, знамо,
длань возложил — ну а ты и заплакал...

ПОДПИСЬ ПОД СНИМКОМ

У Шукшина — ступни Христа:
добыча для гвоздей.
Очами ржавыми они
следят из досок смуты...
И всё ж сподожней по земле
ступать как по воде...
Вот почему России он
запомнился разутым.

Собачьи у него глаза.
Наверное, в нору,
куда испластанного пса
собачники загнали,
ещё угланом заглянул
к добру иль не к добру —
и два предсмертных огонька
его врасплох застали.

А у тебя ступни — кого?
Глаза — кого? Как крут
твой подбородок! Как сидят
заломленные плечи!
Как ты побрит! Как ты одет,
надушен и обут,
да и глаза твои всегда
строжайше человечьи.

ЛЕС

Здесь в воздухе скрипят незапертые двери,
и, в сумерках подняв древесные грибы,
берёза — и-го-го! — заржёт и — не поверишь —
взовьётся над тобой, как лошадь, на дыбы!

А рано поутру зажжётся медуница,
чей красно-синий газ так густо будет цвести,
что чайничек пчелы раз-два — и вскипятится.
И лес как детство: в нём что хочешь, то и есть.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПЕСКА

Песком — по самые борта —
замыта брошенная лодка:
вся — от ступней до подбородка.
На лбу скрутилась береста.

Природа или человек
песком её утрамбовали —
отгадка явится едва ли,
а волны катятся на брег.

Но кто-то же, неукротим,
в той лодке мчался на моторе,
и каждый мост гудел в дозоре,
когда она равнялась с ним?!

Он, видно, силушку имел,
в песок сошедшую досрочно,
и рюмочки часов песочных
нам опрокидывать велел.

У лодки вся её родня —
собака, черви дождевые
да два бомжа, едва живые,
прибавь сюда ещё меня.

Глядим в оцепененье неком:
не человек и не сурок —
в забытой лодке спит песок,
внезапно ставший человеком.

Ольга Ермолаева

* * *

Товарка моя по судьбине и по ремеслу!
 В Москве обитаю, как во глубине океана...
 А ты-то, а ты-то, царевна моя Несмеяна,
 Глядишь с Ангары через тысячевёрстную мглу.

Я бабьего жалкого лепета страсть не люблю.
 Царапаю краткие письма, как курица лапой.
 Но ты-то ведь видишь меня, как и я тебя зрю —
 Какой там к шутам вдохновенной?! — свирепой, патлатой...

О, как многодетная мать при стирке белья,
 И как санитарка, объятая смертной отгагой,
 И как гулеванка, спустившая всё до копыя,—
 Такие мы есть по ночам пред честною бумагой!

У вас — нет! у нас! — скоро выйдет в лугах черемша,
 Пойдёт на покосах расти валерьяновый корень...
 В единой-то боли душе отзовется душа.
 Единым трудом деревенские руки неволим!

Товарка моя, это нам с тобой стыд и укор,
 Что в наших гнездовьях доньне — где густо, где пусто...
 Добро, что нас вынесло в бурей продутый простор,
 И чувство народа затмило любовные чувства.

.. Как поле картохи, возделывай времени пласт!
 Даст Бог, и напишем, и на ноги деток поставим.
 И нам, словно в школе, сурово отметки раздаст
 Высокий учитель наш, Виктор Петрович Астафьев...

* * *

...и этот, про тамбур, стишок — улёт!..
до маковой до зари
в ледник — пилёный, колотый лёд,
а лёд-резун не бери!

по волчьей дороге тальник редей,
хохочет речная даль,
шуршит, в миллиард гранёных гвоздей
распавшись, Божий хрусталь.

ах, лёд-резун, зиме карачун,
из детских великих дней...
рассеянно-наглая лайка Кучум
была не в пример нудней.

давай-ка и мы выйдем в тамбур, брат,
покурим, што ли, тишком.
вот что только летописи чуют
бесстрастнейшим языком:

снабжение порохом и свинцом,
и в воздухе церкви парят,
Великая Пермь, беспробудный сон,
а это Ермак с широким лицом,
в двух панцирях, сутуловат...

ему летописец речёт хвалу
(от горя дрожит щепоть!):
в героя утопшего шлют стрелу —
и в свежей кровище плоть!

ты слушать не смей и не слушать не смей
любимую белиберду —

от сына на зоне — до ранних смертей
в чугунно-плавильном аду...

...как за руку крепко схватил инвалид:
«ко мне наклонись», — говорит...

куда, моя жизнь, енисейский лёд?!

то слёзы льёт, то слепит.

Светлана Мель

* * *

Он был поэтом, неплохим певцом —
 Навскидку я б припомнил пару песен...
 Но как-то раз ударил в грязь лицом
 И стал толпе лишь этим интересен.

Нет, никогда он не был подлецом,
 Из ящиков чужих не крал журналов...
 Один лишь раз ударил в грязь лицом!
 И как о том общественность прознала?!

Нет! Надо желторотым быть юнцом,
 Чтобы летать на крыльях там, где скользко!
 Подробности удара в грязь лицом —
 Их оказалось не помыслить сколько.

Как брызги разлетались, на кого,
 Как смачно грязь причмокнула при этом,
 Припомнили — и что им до того,
 Что был он симпатягой и поэтом,

Что от жены налево не ходил
 И дамам место уступал в трамвае,
 Исправно взносы в профсоюз платил?...
 Но в грязь лицом ударил. Что ж, бывает.

Сам Бог велел пикантным быть греху!
 Нет края интригующим рассказам.
 Вещали дамы прессе на духу
 О том, как он их, падая, измазал.

Уж всяк к нему примазаться спешит:
 Мол, тоже там стоял — сосед поручкой!
 А плащ давно постиран и зашит
 Ничем не виноватою супругой.

Да что там плащ... Джип новый у него.
 И женщины с ним рядом — загляденье!
 И он уже не пишет ничего.
 И даже мыслит повторить паденье...

* * *

Светлел восток неброско, даже вкрадчиво,
Всё шло по расписанью в этом мире.
Через порог шагнули в час назначенный
Шесть ног — точнее, две и к ним четыре.

Бродили две ноги, скрипя резиною.
Комочком пепла пять минут упало.
А три ноги четвёртую откинули —
И было утро вписано в анналы...

НИКЧЁМНОЕ

Отрешённо вполз в потёмки
День, намаявшийся за день.
В нём роятся ниочёмки,
Притыкаясь к мысли задней...

Лунный луч скользит по стенке.
И свиваются в орнамент
Кружеватые нисчемки
Серебристыми волнами.

Завалив простой экзамен,
Опыт строки плёл в тетради,
Как-Никак пришёл к Незнаму
И незнамо как поладил.

Из поломанного крана
Дробно капает водица.
Эта запись, как ни странно,
Никогда не пригодится...

Кран чинить не собираясь,
Побурчать на сон мы вправе:
Нами вдосталь наигрались
И на место не убрали.

«Спят усталые игрушки...»
Спит судьба — карга слепая.
Копошата никчемушки,
Ни к чему не прилипая.

В разной стадии решенья
И проблемы, и проблемки —
Не свершённые свершенья,
Неземные низачемки...

* * *

Жизнь лечит тебя от иллюзий. Назначенный курс
И прост, и не нов — без излишних нотаций и лекций.
Всё те же пилюли (уже притупляется вкус)
И цикл регулярных, почти ежедневных инъекций.

Уколет подкожно — не сразу сойдут синяки.
Потом внутримышечно... Так прививается опыт.
Другие методики ей применять не с руки.
В микстуру она не добавит ни капли сиропа.

Без всякого чёрного умысла, даже не злясь,
Любя тебя трепетно — как неразумное чадо,
По самые уши засунет в лечебную грязь —
Не как наказание, не сетуй, родимый, так надо.

Когда-нибудь к старости станешь на правильный путь.
Твой опыт накопленный будет везде аргументом.
До той же поры — ну хотя бы немного побудь
Не самым послушным, не самым немым пациентом

СКЕЛЕТ В ШКАФУ, ИЛИ РОМАНС СТАРОЙ ДАМЫ

Сидел скелет в моём шкафу, а может быть, стоял,
К фанерной стенке прислонясь покоцанным плечом.
Он шерил мне из темноты жемчужный свой оскал,
А дверца заперта была — и не одним ключом.

Забудусь я недолгим сном, он вылезет ко мне.
И в глубине его глазниц уж сорок с лишним лет —
Одна-единственная мысль, понятная вполне:
Мол, никогда ты обо мне не позабудешь, нет!

Истлел мой прежний гардероб, мантильи съела моль,
На шляпках сморщились цветы, шёлк, бархат — всё труха...
И лишь скелету хоть бы хны — и ясно мне самой,
Что никогда не истечёт срок давности греха.

Когда ж, Всевышним прощена, я в небо унесусь,
Где память станет не важна, где сожалений нет,
Тот шкаф распилят на дрова, и мне не жалко — пусть!
А за мгновенье до того рассыплется скелет.

МАЛЕНЬКИЕ
НЕСКЛЕПОСТИ
ЖИЗНИ

* * *

Такое бывает лишь в сказке волшебной:
Улёгся с лягушей — проснулся с царевной.
Совсем по-иному случилось с Ванюшей:
С лягушей уснул — и проснулся с лягушей.

* * *

Крушить столпы — занятие для толпы.
И снова возводить — удел её же.
А я, своё сознание корёжа,
Смотрю с испугом из-под скорлупы...
Все мы в себе мудры, вовне — глупы.

* * *

Заберусь в кабинет биологии,
Украду самый крупный скелет...
А не то кавалеры немногие
Заподозрят, что прошлого нет...

* * *

А ветер ноет зло и нудно,
И не видать ещё земли...
А крысы, покидая судно,
Все шляпки молча увели.

* * *

Раз электрика Петрова
Загнала на столб корова.
И в деревне за семь лет
В первый раз зажётся свет

* * *

Плёл паук ловушку
В поле у ручья.
Поджидал он мушку,
А попалась я...

* * *

Тепло, и нежность, и страсть во взгляде,
И атмосфера любви кругом...
Мы очень любим, когда нас глядят,
Но уж, конечно, не уютном.

* * *

Их брак не выдержал и дня!
Сойтись не удавалось ближе им:
Он не хотел слезать с коня,
Она не расставалась с лыжами...

* * *

Вися забытым в дебрях шифоньера,
Костюм усох с тоски на два размера.

* * *

Лягушка с утками летит за облака...
Ещё не ведая, что в качестве пайка.

* * *

Он был мне друг, но просто лез из кожи
Доказывать, что истина дороже.

* * *

Та дама засыпала с идеалом,
От холода дрожа под одеялом.

* * *

Когда у Ваших ног он упадёт,
Не обольщайтесь — это гололёд.

* * *

Он дёргался у двери в нервном твисте —
Супруга заперлась с Агатой Кристи.

* * *

Он, книгу дочитав, покинул туалет...
А жизни на земле, как оказалось, нет.

* * *

Где б встретить и пригреть свою
Неповторимую змею?

* * *

Мела пурга, а дворник грёб за нею.
Потом покажет время, кто сильнее.

* * *

Он крикнул лягушке в трясине гнилой:
— Уйди, дорогая, не стой под стрелой!

* * *

Один боксёр супругу Аграфену
Свою Грушей сделал за измену.

* * *

Поэт Востока написал поэму
И посвятил любимому гарему.

* * *

Стоял снеговик во дворе у парковки
С огромным глушителем вместо морковки.

* * *

Эта правда была неказиста,
Расцвела под рукой визажиста.

* * *

В прокисший анекдот добавьте ложку соды —
И вот он снова на вершине моды.

Сергей Кузнечихин

Бесконечный диалог

Печатается с изъятием особо интимных мест и ненормативной лексики

А почему бы и нет? Почему бы не поговорить с собой, если ты всю жизнь подвержен этой болезни? Бормотал не только в лесу или на реке, но и на улицах. Разговаривал, не замечая, что на тебя оглядываются. Разговариваешь и теперь, но реакцию посторонних уже чувствуешь, и становится не очень уютно: принимают за человека, у которого не всё в порядке с головой.

— А ты хочешь сказать, что они заблуждаются?

— Разумеется.

— И напрасно. Психически нормальный человек не станет сочинять стихи, особенно в постсоциалистической России. Кому они нужны в наше время?

Разговор, собственно, уже начался. Один пристаёт с некорректными вопросами, другой пытается ответить. Остается обозначить для удобства, кто есть кто. Допустим, гражданин Кузнечихин, в дальнейшем именуемый *Гражданин К.*, и сочинитель Кузнечихин, в дальнейшем именуемый *Сочинитель К.*

Гражданин К. Ты так и не ответил: кому в наше время нужны стихи?

Сочинитель К. Мне.

Гражданин К. Свои?

Сочинитель К. Не только. Но оставим этот пустой спор. Он давно навяз в зубах, и не только в наших. Одним нужны, другим не нужны. Что теперь, резню из-за этого устраивать? Крестовый поход на любителей стихов? Или наоборот — на тех, кому они без надобности? Вспомни: когда учился на первых курсах, желающих послушать поэтов набивались полные залы. Причём не самых знаменитых поэтов, и даже не самых честных.

Гражданин К. Разве бывают и нечестные поэты?

Сочинитель К. Так же как нечестные физики, химики и прочие технари, не говоря уже об экономистах. Но мы же о другом собрались поговорить — о твоём пятидесятилетии. Золотая свадьба с жизнью. Пора подведения итогов.

Гражданин К. Слушай, а почему ты меня гражданином обозвал? Я что, на допросе у следователя?

Сочинитель К. Гражданин, да будет тебе известно, только при советской власти получил статус подследственного, а в добрые старые времена «гражданин» звучало весьма гордо. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Если не нравится — могу назвать мещанином.

Гражданин К. В пору моей молодости мещанами называли людей, стремящихся только к личной выгоде, запирающих квартиры на два замка и способных спустить пса на человека, если он потянется к цветочку в его палисаднике. При этом цветочек-то для девушки, а не на продажу.

Сочинитель К. Прекрасно! Исчерпывающий портрет россиянина девяностых. Вы его презирали, а он, вопреки всему, выжил и расцвёл. Теперь вы ему завидуете и берёте с него пример.

Гражданин К. Ему? Нисколечко! Данный подвид человека процветал во все времена и при любом режиме, просто он обнаглел. Среда соответствует. Бывают же времена, когда крысы плодятся интенсивнее других млекопитающих?

Сочинитель К. Я не биолог, но полагаю, что бывают. Значит, ни гражданином, ни мещанином быть не хочешь. И как вас теперь называть? Может — господином?

Гражданин К. А почему не Их Сиятельством? Нет уж, зови просто инженером.

Сочинитель К. Тогда прими юбилейный стишок: опытный инженер — всем поэтам пример!

Инженер К. Стишок дерьмовый. Мог бы постараться и зарифмовать, что и вас когда-то величали «инженерами человеческих душ». Но я — человек практический, меня другое волнует. Слишком легко хочешь отделаться. Если пришёл поздравлять — доставай бутылку.

Сочинитель К. Прости, старик, напечатал три подборки стихов, десяток рассказов, а заплатили всего за один.

Инженер К. Подожди, ты же получил миллион от Брынцалова.

Сочинитель К. С каких пирогов?

Инженер К. Я слышал, что отбил телеграмму и пообещал проголодовать, если он переведёт тебе «лимон». И он прислал, а ты отдал свой голос.

Сочинитель К. Говори уж прямо: продал. Но это сплетня.

Инженер К. Обидно. Придётся мне раскошелиться, простому советскому инженеру с зарплатой сторожа. Небольшой, но регулярной.

Сочинитель К. Регулярность по нынешним временам — лучшее качество зарплаты. Но почему советскому?

Инженер К. Все мы немного советские, особенно те, кто в партии не состоял и никогда не лез ни в председатели совета пионерского отряда, ни в комсорги. Это бывшим активистам надо старательно отрешиваться от советского прошлого. Вон как они в церковь зачастили.

Сочинитель К. А ты с дипломом инженера гордо восседаешь в сто-
рожах.

Инженер К. Ну и наглец, однако же.

Сочинитель К. Почему?

Инженер К. Он ещё спрашивает. Кому из нас не хватало времени
для пачканья бумаги? Кому мешала сосредоточиться моя работа
в «наладке»?

Сочинитель К. Да разве это работа? Постоянные разъезды, дешёвые
гостиницы, грязные котельные...

Инженер К. Зато я приносил пользу. Можно сказать, свет и тепло
людям нёс. А от твоих сомнительных писаний какой прок? Когда
народ читал, тебя не печатали. Вечно ты не в струю. Требовалась
светлая проза — ты писал мрачную. Теперь в моде «чернуха», а
тебя на веселье потянуло. Зачем ты потратил девять месяцев на
повесть о шестидесятих годах?

Сочинитель К. Сердцу не прикажешь.

Инженер К. Всё это отговорки. Просто не умеешь взять себя в руки.

Сочинитель К. Тебе с высоты пятидесятилетнего пьедестала, разуме-
ется, виднее. Теперь будешь учить жить. Учить, о чём и как писать...

Инженер К. Я всегда говорил тебе, что не о том пишешь: бичи,
проходимцы, проститутки — их тогда и в помине не было, а ты
где-то находил.

Сочинитель К. Извини, находил всё-таки не я, а ты.

Инженер К. Замнём для ясности. Как будто я серьёзных сюжетов тебе
не предлагал. Помнишь взрыв деаэратора в Горном: поведение
людей до и после, драму лаборантки с ошпаренным лицом? Кра-
савицей была — и в кого превратилась; кстати, одной из причин
аварии была её ветреность, а глубже копнуть — зацепишься за
организацию труда и за всю нашу подгнившую систему. Сюжет для
романа преподнёс, а ты, неблагодарный, иронизируешь, намёки
неприличные позволяешь. Без моего опыта тебе и рассказать-то
нечего.

Сочинитель К. Не многовато ли на себя берёшь?

Инженер К. Ну расскажи. Заинтересуй.

Сочинитель К. Пожалуйста. Вот тебе занимательная история о зло-
ключениях поэтического сборника «Соседи».

Инженер К. Тонюсенький такой?

Сочинитель К. После того как директор издательства обвинил меня в
потребительском отношении к женщине, читателю достались «рож-
ки да ножки в мягкой обложке». Но здесь важна предыстория. Ру-
копись на рецензию попала к Третьякову. Он пришёл ко мне домой
и начал намекать, что при его авторитете он может, если захочет...

Инженер К. Сказал бы прямо, что хочет выпить.

Сочинитель К. И я бы нашёл водки. А терпеть неприличные намё-
ки я не любитель, пришлось распрощаться. Неутолённая жажда

привела его к Корабельникову, благо, что жили через подъезд. Там снова началось: дескать, в его руках судьба друга... С Олегом такие штуки вообще не проходят. Он съездил в издательство, попросил рукопись и сам написал хвалебную рецензию. И Третьяков написал.

Инженер К. Положительную?

Сочинитель К. Весьма. Такой поворот не устраивал редактора Ермолину Г. Н.

Инженер К. Мне кажется, она имела полное право не принимать, или, как там у вас выражаются, считать твои стихи малохудожественными.

Сочинитель К. Согласен.

Инженер К. Так уж и согласен?

Сочинитель К. С тобой согласен. Я чётко сознаю, что мои творения не нравятся определённой категории людей. Но речь не о вкусах, а о методах, об их чистоплотности. Ермолина предложила Третьякову переписать рецензию — сменить «плюс» на «минус». Это его весьма удивило. Наивный поэт, в отличие от опытного работника издательства, не подозревал, что взгляд человека на одни и те же стихи способен так быстро меняться. Но уверенность солидной дамы всё-таки вселила сомнение в чуткую душу, и он решил проконсультироваться у директора издательства. «Послушай, — сказал Третьяков, — ты поэт, и я поэт, ответь мне, пожалуйста: может быть у поэта два мнения об одной рукописи?» Не слишком умелый стихотворец, занимающий влиятельный пост, польщённый признанием потенциального классика, сразу же с ним согласился, а грязную работу по написанию нужной рецензии взял на себя. В своё время враг народа Бухарин в злых заметках о Есенине обвинил поэта в свинском обращении с женщиной, а мне было поставлено в вину потребительское отношение. Не знаю уж, какое из обвинений убийственнее, но главное, что был продемонстрирован творческий подход к трудам любимца партии.

Инженер К. И собственное благородство продемонстрировано.

Сочинитель К. Без этого им нельзя. Они же, в укор нам, все праведники. У них это и в уставе прописано. Ум, честь, совесть...

Инженер К. А Третьяков, можно сказать, впал в безумство храбрых?

Сочинитель К. В некотором роде. Более того, назвав чиновника поэтом, посчитал, что имеет право на моральную компенсацию. С чистой совестью стрельнул у него червонец, и тот расщедрился, твёрдо зная, что поэт не вернёт. Но за рецензию директор получил гораздо больше.

Инженер К. За это платили?

Сочинитель К. И неплохо. Но заказывали их в основном тем, кто пишет отрицательные. У меня их целая папка. Давал людям заработать.

Инженер К. Признайся, что среди наладчиков такая плесень не заводится.

Сочинитель К. Там другая среда, другая температура и другое давление. Союз писателей — это заставленное пыльной мебелью и набитое людьми помещение без форточек и без вентиляции, а в наладожном управлении и окна, и двери нараспашку. Но люди почему-то рвутся туда, где трудно дышать. Прости за сентиментальность и не прими за юбилейный елей, но твоя наладка для меня и школа, и университет, и банк данных, и просто банк, ну и халявное бюро путешествий...

Инженер К. Немаловажный плюс для сочинителя.

Сочинитель К. Кто-то обходится и без путешествий. Но если подворачивается возможность увидеть новые места и новых людей — грех отказываться.

Инженер К. Слушай, а ведь ты погубил мою инженерную карьеру. Я поддался на твои уговоры и застрял в наладке, а мог бы стать большим начальником или кандидатом наук и так далее. Но дело даже не в этом. Больше всего меня раздражает то, что у тебя нет ни капли раскаяния.

Сочинитель К. Каюсь.

Инженер К. Что-то не верится. Где искренность?

Сочинитель К. Каюсь во всех грехах. Сочинительство тоже грех. Оно, к сожалению, самое эгоистичное состояние. И чем эгоистичнее сочинитель, тем выше его результаты.

Инженер К. Прости, но мне кажется, Антона Павловича Чехова нельзя обвинить в большом эгоизме.

Сочинитель К. Он великан! С ним даже Бунина нельзя сравнивать, не говоря уже о нас, грешных.

Инженер К. Хотел тебя спросить об отношениях между сочинителем Чеховым и доктором Чеховым, но ответ вроде уже прозвучал.

Сочинитель К. Успокойся, доктор Чехов сопоставим с наладчиком Кузнечихиным. Может, доктор чуть лучше, но в пределах видимости.

Инженер К. Спасибо за лесть.

Сочинитель К. Не за что. Прими как надувной шарик в качестве юбилейного подарка. Спасибо, что не стал сравнивать наши сочинения. А что касается загубленной карьеры, то в большие начальники ты бы не выбился.

Инженер К. Я бы в партию вступил.

Сочинитель К. Дело не в партии. Без жадности власти начальниками не становятся. У тебя психология мастерового, а не жоака.

Инженер К. Тогда бы защитил кандидатскую диссертацию.

Сочинитель К. Может, и сумел бы, при определённой доле везения. Но мало написать, надо ещё и очередь на защиту выстоять. Ты только что не очень лестно отзывался о писательских нравах, а в науке, думаешь, чище? Те же внутренние рецензенты, те же дутые авторитеты, окружённые холуями.

Инженер К. Перспектива не самая радостная.

Сочинитель К. Дальше — хуже. Система-то развалилась. Чем сейчас занимаются бывшие кандидаты наук? Одни в презренную торговлю подались, другие — в грязную политику.

Инженер К. Не знаю, процветает сейчас или выживает мой однокурсник Валера Круглов, но уверен, что он продолжает заниматься наукой, а не торгует импортными презервативами или палёной водкой.

Сочинитель К. Согласен. Я, например, взялся пачкать бумагу не для того, чтобы стать членом Союза писателей, я тщился сказать правду о своём времени; просто, будучи «членом», легче было напечататься. Полагаю, и для Круглова диссертация не была самоцелью. Но таких меньшинство. Когда в науке можно было, не имея больших способностей, безбедно существовать, в неё лезли и правдами, и неправдами. А поскольку «правдами» пробиться труднее, нетрудно представить и моральную атмосферу.

Инженер К. Второй путь предпочтительнее.

Сочинитель К. Само собой. Но случился переполох, и вся эта братия кинулась на рынок, а если учесть, что кое-какой опыт торговли некачественной продукцией и несуществующими идеями был накоплен, некоторые вполне преуспели.

Инженер К. Можно подумать, что писатели не торговали некачественной продукцией.

Сочинитель К. И активнее, и успешнее. Более того: дурно пахнущая книга воняет гораздо отвратительнее высосанной из пальца диссертации, она дольше живёт, а зачастую и переиздаётся неоднократно. Пустая диссертация умирает в день защиты, опускается в самый нижний архив, и автор, в отличие от писателя, меньше всех заинтересован в её реанимации. Но речь о другом. Согласен, что нельзя осуждать человека, бросившего дело, которое перестало его кормить. Но те, кто остался, почему они должны терпеть насмешки? Тут недавно вещала из «ящика» дамочка-политик. Фамилию не помню, но она частенько украшает голубой экран своим мужеподобным обликом. Ушла из науки в политику и с таким презрением отзывалась о тех, кто застрял в ней. Она, дескать, несмотря на явные успехи, вовремя поняла, что занималась не своим делом, а эти недоумки всё ещё цепляются за старые иллюзии.

Инженер К. Прости Господи. Неужели не подозревает, что выставляет на всеобщее обозрение корни своей агрессивности?

Сочинитель К. Нет. Она уверена, что публика восторгается ею, оценивает жертву и прямо-таки рвётся помочь ей тащить Россию из болота. А тех, кто сомневается в её научных успехах и её благих политических деяниях, она и за людей не считает, они — быдло, обречённое догнивать.

Инженер К. Эка ты завернул! Того и гляди, о Родине заговоришь, как настоящий патриот.

Сочинитель К. А я и так патриот.

Инженер К. Рассмешил. У тебя же ни одного положительного героя нет.

Сочинитель К. Ну, героев моих ты, пожалуйста, не трогай. Нормальные люди. А по сравнению с теми, кто обзывал их отрицательными, они вообще ангелы.

Инженер К. И ни одной строчки о любви к России.

Сочинитель К. Так я же не профессиональный патриот. Поэтому и не катают меня на казённых машинах, и квартиры с высокими потолками в центре города не дают.

Инженер К. Можно подумать, что на вокзале ночуешь.

Сочинитель К. Согласен. Но квартиру получил инженер Кузнечихин, а не сочинитель.

Инженер К. Вот видишь: живёшь в моей квартире, пьёшь мою водку, закусываешь моей черемшой, пользуешься моими сюжетами, спишь с моей женой, а в благодарность — одни издевательства.

Сочинитель К. Жена, допустим, моя.

Инженер К. Ты думаешь, она выходила замуж за никому не известного поэта, напечатавшего в молодёжных газетёнках десятков стишков?

Сочинитель К. А ты уверен, что позарилась на твою большую зарплату?

Инженер К. Зарплата была весьма приличная. Но для неё важнее было другое.

Сочинитель К. Важнее, чтобы человек был хороший. А ты как человек значительно лучше меня — это хочешь сказать?

Инженер К. Может, разбудим её и спросим?

Сочинитель К. Первое, что она сделает, — отберёт бутылку.

Инженер К. А мы сначала допьём, а потом спросим.

Сочинитель К. Я, пожалуй, выпью, а тебе уже достаточно.

Инженер К. Ну и наглец!

Сочинитель К. Реалист, с вашего позволения.

Инженер К. А у кого сегодня юбилей?

Сочинитель К. У тебя.

Инженер К. Значит, имею право сказать торжественное слово. Я предлагаю выпить за то, что мы с тобой не принимали участия ни в разворовывании, ни в оболванивании России!

Сочинитель К. Экую загогулину выговорить сумел! А может, мы не принимали участия потому, что у нас возможностей не было?

Инженер К. Сволочь ты, а не реалист!

Сочинитель К. Критический реалист, с вашего позволения.

Инженер К. Слушай, мы когда-нибудь помиримся?

Сочинитель К. Не знаю.

Инженер К. А у меня ещё бутылка есть.

Сочинитель К. Тогда обязательно помиримся. С днём рождения, мой дорогой! С полувековым юбилеем!

Июль 1996

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Инженер К. Ну и что, спустили годики?

Сочинитель К. Спустили. Махом улетели, как вода из бачка унитаза.

Инженер К. Подходящее сравненьице. Достойное срока в две пятилетки. Но, извини, маленькая неточность: вода из бачка вырывается с шумом, а в твоём случае всё прошло довольно-таки тихо. И, как бы это помягче...

Сочинитель К. Да ладно, чего уж миндальничать, добивай.

Инженер К. Очистительная функция воды оказалась невыполненной.

Сочинитель К. Дерьмо, что ли, не смыто?

Инженер К. В некотором роде.

Сочинитель К. Сначала вы требовали от литературы воспитательную функцию, а теперь — ассенизаторскую.

Инженер К. В лучших традициях критического реализма. Ты же по ним себя судишь.

Сочинитель К. Слушай, ты, Белинский недоделанный, твоя специальность — водный режим котлов, вот и занимайся им, доказывай, что нет смысла перепечатывать статьи о межкристаллитной коррозии, потому что клёпаных барабанов не осталось.

Инженер К. Вот она, чёрная неблагодарность. Я утешить хотел, объяснить, почему не стало читателей.

Сочинитель К. В очередной раз напомнить, что пишем хреново.

Инженер К. Не без этого. Но когда мы были самой читающей страной, писали не лучше, просто плохие книги сменили окраску и запах, у них-то читателей прибавилось. Но писатели здесь ни при чём.

Сочинитель К. Где уж нам уж...

Инженер К. Да не юродствуй ты. Вспомни, где работали ваши лучшие читатели, которые и строчку хорошую могли оценить, и между строк находили больше, чем автор прятал.

Сочинитель К. В Комитете госбезопасности?

Инженер К. Ты бы ещё цензуру вспомнил. Не в ту сторону гнёшь. Я о нормальных читателях спрашиваю.

Сочинитель К. О женщинах?

Инженер К. Они читают намного больше, но я хочу сказать о мужиках. В советское время существовали НИИ, проектные институты и прочие конторы, набитые довольно-таки образованными людьми, которым платили жалкие копейки. Чтобы отработать эту подачку, хватало и половины рабочего времени, вторую половину они тратили на разговоры. Но не всё же время болтать о бабах и пьянстве, люди-то всё-таки интеллигентные. Надо же чем-то отличаться от гегемона, и не случайно же мы называли себя самой читающей страной. В некоторых книгах можно было высмотреть между строк то, о чём стыдливо умалчивали газеты и телевидение. Вот и собирались они в курилках делиться открытиями и находками. Одни у Трифонова искали, другие у Маканина, третьи у Шукшина, даже поэтов

не обходили вниманием. И чтобы не выглядеть белой вороной в компании сослуживцев, народ был вынужден почитать. Теперь эти конторы обанкротили, разворовали, разогнали и вместе с ними уничтожили лучшего читателя. Ты молиться на них должен был, а не шпильки подпускать. Получилось, что пилил сук, на котором сидел.

Сочинитель К. Сколько можно повторять: я — реалист.

Инженер К. Русаков тебя суровым реалистом назвал.

Сочинитель К. Он психиатр, ему виднее. Поэтому каяться не собираюсь. Я смотрю на жизнь трезво. Чёрное называю чёрным; серое — серым; а голубое — голубым. Это романтики периодически путают, какого героя какими красками малевать.

Инженер К. Подожди, ты вроде насчёт трезвости заикнулся, а помнишь ли, ради чего?..

Сочинитель К. Помню. Я и бутылочку припас. А ты с места в карьер — критиковать меня.

Инженер К. Извини, характер стал портиться. Поругаться всегда успеем, но надо хоть какие-то бабки подбить, всё-таки десять лет прошло.

Сочинитель К. Мирную инициативу полностью одобряю, и позволь поздравить тебя с выходом на заслуженный отдых.

Инженер К. Вышел бы, если бы с тобой не связался.

Сочинитель К. Опять я виноват. Понимаю, что пенсия оскорбительно смешная, но претензии не по адресу, я даже справкой о гонораришках помог, невелика лепта, но внёс прибавку величиной с бородавку.

Инженер К. Не переживай. Обида мозги туманит, вот и бросаюсь на своих. В две тяги упирались, а в итоге — стыдно сказать... Кто бы мне вразумительно объяснил, почему какой-нибудь мелкий клерк из краевой администрации получает пенсию в несколько раз больше, чем начальник цеха? Кто из них создавал материальные ценности? Чей вклад в государственную копилку больше? Или депутатов сегодняшних взять: за что им такие пенсии? Может, ты растолкуешь?

Сочинитель К. Тайна сия велика есть. Но мы вроде итоги подводить собрались, а не депутатов ругать.

Инженер К. А пенсия разве не итог?

Сочинитель К. Существенный, но не главный. Важнее всё-таки закончить дело, воплотить мечту, пройти дорогу...

Инженер К. Если сил хватит. Давай сначала помянем брата Николая, сестру Лиду и друзей, не доживших до этого дня.

Сочинитель К. Не чокаемся.

Инженер К. Не чокаемся.

Сочинитель К. А водочка-то советская, пожалуй, приличней была.

Инженер К. Советская — вне сомнений. А десять лет назад могли нарваться на такой суррогат, что сейчас бы трезвенькими лежали. Кстати, куда запропал твой любимый Брынцалов?

Сочинитель К. А это кто такой?

Инженер К. Здравсьте! Кандидат в президенты России, водку и лекарства производил. И ты вроде как предлагал ему свой голос за миллион рублей.

Сочинитель К. Не помню.

Инженер К. Его жену с любимой лошадью показывали по телевизору, и жена хвасталась, что круп у неё намного породистей.

Сочинитель К. Женщину припоминаю, а политика нет. Видишь, как быстро они выветриваются. Кто сегодня помнит, например, Хасбулатова?

Инженер К. Писателей тоже забывают. Кто сейчас Трифонова помнит или Мартынова?

Сочинитель К. К ним-то ещё вернутся.

Инженер К. Надежды юношей питают. А мы далеко не юноши. Зато я помню, что водка десять лет назад стоила двенадцать рублей, стало быть, цена её выросла в семь раз.

Сочинитель К. Может, двенадцать тысяч?

Инженер К. Забыл и про деноминацию, и про дефолт.

Сочинитель К. Потому что нищеты он не коснулся.

Инженер К. Это уж точно, доллары не имели.

Сочинитель К. Но по иностранной фене ботать научились.

Инженер К. Жизнь заставила. И всё-таки надо признать, что наметились кое-какие сдвиги в лучшую сторону. Зарплату вовремя платить стали, новые производства открываются. В Якутию пару раз летал на пуск новых котельных, и в городе иногда работёнку подбрасывают. Не знаю: или начальство после Ельцина умнеть начало, или Россия выздоравливает. Сама, без помощи докторов. Инстинкт самосохранения сработал. Намалялись вдосталь, наслушались шарлатанов, одыбались от шоковой терапии, уши заткнули и потихоньку, шаг за шагом, со скрипом и стонами...

Сочинитель К. Радуюсь твоему оптимизму. А у меня никаких заработков. Раньше хоть в газетах за рассказы что-то платили, теперь пришло новое поколение журналюг, и все наши опусы — поганой метлой. Цинично и не без садизма.

Инженер К. Но в журналах-то идут и проза, и стихи.

Сочинитель К. А в журналах платят чисто символически или не платят вообще.

Инженер К. Раньше тебя почти не печатали, теперь почти не платят. И что предпочтительнее?

Сочинитель К. Чтобы и печатали, и платили.

Инженер К. Не юли.

Сочинитель К. Тогда была надежда на прорыв и уверенность, что прочтут, а теперь, Серёжа мой, нет надежи никакой — так вроде в песенке пелось. А если серьёзно, то писать в стол можно до определённого предела. Потом наступает удушье.

Инженер К. Значит, гонорар — не самое главное? И, как я понял, сочинителю без подрывного клапана не обойтись.

Сочинитель К. В моём случае — да. Если перекрыта задвижка на турбину, то приходится сбрасывать пар в атмосферу.

Инженер К. Машинисты паровозов когда-то говорили, что весь пар ушёл в свисток.

Сочинитель К. Не совсем так. Но половина из нас, если не больше, только на «свисток» и работает. Причём осознанно.

Инженер К. Кстати, один из них сильно возмущался твоей повестью про седьмую жену Есенина.

Сочинитель К. Далеко не один. Наслушался претензий. Но дело в том, что эти любители копать в истории, не моргнув глазом, пытаются выдать свой бред за правду, а я в этой повести под видом бреда стараюсь докопаться до глубинных причин того, что с нами случилось.

Инженер К. И смог докопаться?

Сочинитель К. Частично. Всей правды не узнать никому. Но я не шулер. Версию не выдаю за истину.

Инженер К. А другой твой собрат по перу, не самоучка типа тебя, а закончивший Литинститут, сказал, что про поэтов пишут только те, кому писать не о чем.

Сочинитель К. Литинститут никого писать не научил. Русаков, например, и до него хорошо писал, а этот собрат, как бы помягче выразиться... Когда-то у романтичных дамочек был в ходу афоризм: «Разлука для любви — как ветер для костра. Сильный огонь он раздувает, а слабый — гасит».

Инженер К. Намёк понял.

Сочинитель К. Вот и хорошо. Почему нельзя писать о поэтах — не знаю. Чем они хуже докторов, художников, политиков или проституток? Особенно теперь, когда поэты оказались в стане самых униженных и оскорблённых. Учителя, врачи или вы, пенсионеры, постоянно взываете к правительству и требуете улучшить ваше благосостояние. Поэты даже этого не могут себе позволить. Они не кланчат у государства ни на хлеб, ни на вино. Единственное, что может себе позволить поэт, — попросить у местных властей, чтобы издали книжку. Так ведь не каждый умеет просить. И власть помогает тем, кто ближе к ней.

Инженер К. А не вы ли сетовали на излишнюю опеку власти?

Сочинитель К. Лично ко мне она была в лучшем случае равнодушна. Никогда ничего от неё не имел. Она знает, кому давать. Но выжил как-то и без её щедрот.

Инженер К. И всё равно, даже я понимаю, что нельзя писать только о поэтах, пусть вы даже и вымирающее племя.

Сочинитель К. Естественно, и о бедном народе словечко замолвить надо. Так я вроде не отмалчивался. Достаточно внимания уделил

тем, кто не только не пишет книг, но даже и не читает их. Не знаю, правда: надо ли это кому?

Инженер К. Всё-таки сомневаешься?

Сочинитель К. Давно и неизлечимо.

Инженер К. Значит, и это выдержишь. Не хотел тебя расстраивать, но лучше я, нежели посторонний зубоскал.

Сочинитель К. Хочешь сказать: брось писать?

Инженер К. Я предостерегал тебя и двадцать, и тридцать лет назад. Надоело. Чёрт с тобой, пиши, если здоровья не жалко. Но хочу довести до сведения, что подрядился на котельную, хожу раз в неделю делать регенерации, на твои гонорары...

Сочинитель К. Ну сколько можно?

Инженер К. Извини, сорвалось. Котельная даёт пар для фабрики туалетной бумаги. А сырьём для подтирки служат книги.

Сочинитель К. Какие книги?

Инженер К. Всякие, в том числе и художественные. И в немалом количестве. Фабрика урчит круглосуточно, без выходных; идёт непрерывный процесс переработки. Четыре мужика ставят коробки на весы, потом высыпают на транспортёр...

Сочинитель К. Пьяные, поди?

Инженер К. Трезвенькие. Хозяин фабрики, молодой спортивный парень, строго следит за дисциплиной. Технологию переработки рассказать?

Сочинитель К. Садист.

Инженер К. Понимаю. Тебе, наверное, не терпится узнать, видел ли твои книги?

Сочинитель К. Не тяни kota за хвост.

Инженер К. Одна попалась, но успокойся, я её спас.

Сочинитель К. А ещё чьи?

Инженер К. Да всех твоих друзей. И врагов тоже. Но вражеских больше, потому что их чаще издавали.

Сочинитель К. А поконкретнее?

Инженер К. Не стоит. Список, что ли, составлять? Слишком длинный получится. Я же объяснил: кого больше издавали, теми чаще вытирают задницу. Закономерность прямая, как лом.

Сочинитель К. Или прямая кишка.

Инженер К. А она действительно прямая?

Сочинитель К. Понятия не имею.

Инженер К. Вот видишь, а утверждал, что пишешь только о том, что хорошо знаешь.

Сочинитель К. После твоих откровений и не так заговоришь. Есть у нас молодой поэт, у которого дедушка был местным классиком, надо предупредить парня, чтобы, вставая с горшка, извинялся перед дедом. Правда, извинения эти вряд ли кого утешат.

Инженер К. Там не только местные классики. Даже безмерно уважаемый тобою Андрей Платонов идёт на конвейер.

Сочинитель К. Нашёл чем успокоить.

Инженер К. И «Мастер и Маргарита»... А «Мелкого беса», которого ты на книжной барахолке за пятьдесят целковых покупал, десяти бутылок водки меня лишил, могу тебе принести хоть в мягком переплёте, хоть в твёрдом. Может, «Лолиту» хочешь? Могу и «Лолиту» доставить. И не одну.

Сочинитель К. Хватит кощунствовать.

Инженер К. Никакого кощунства. Констатирую факт народной любви к великой русской литературе.

Сочинитель К. Не надо ставить равенство между русским народом и бритоголовым парнем в спортивном костюме.

Инженер К. Ты думаешь, он ходит в кожаной куртке с маузером и, как продотрядовец, конфискует у запуганного населения духовную пищу? Не обольщайся. Сами несут, да ещё и благодарят за несчастные копейки. Они собирают приговорённое на выброс. Можно сказать, мусор перерабатывают. Между прочим, и томики с дарственными надписями попадают: «Дорогому имяреку от автора с пожеланиями и благодарностью».

Сочинитель К. Даже так?

Инженер К. А ты надеялся, что ваши автографы хранят в сейфах?

Сочинитель К. Дай в себя приду... Один мой пожилой приятель развозит свои книжки по библиотекам. Может, в них спасение? Отлежаться, спрятаться до лучших времён?

Инженер К. Размечтался. С библиотеками у фабрики большая дружба. Оптовые поставщики всегда уважаемы. Была, допустим, в конторе библиотека, занимала площадь в пятьдесят или семьдесят квадратных метров, отвезли «источники знаний» в макулатуру — и метры освободились. Комнату можно арендатору сдать. «Знания» на подтирку, а живые денежки в карман.

Сочинитель К. А если перегородку соорудить, то и двум арендаторам...

Инженер К. Верно мыслишь. Мой инженерный опыт приносит зрелые плоды.

Сочинитель К. А современные западные технологии позволяют быстро и качественно провести перепланировку.

Инженер К. Растёшь на глазах.

Сочинитель К. Вместе с Россией, которая семимильными шагами осваивает премудрости «евроремонта».

Инженер К. Писатель должен идти в ногу со временем, наконец-то и ты начал осознавать.

Сочинитель К. Шуток не понимаешь? А я тебя с Карлом Марксом сравнивать собрался.

Инженер К. Не потяну. Борода основоположника значительно мудрее.

Сочинитель К. Он тоже любил рыться в книгах.

Инженер К. Уел. А я думал, что ты оценил мой расчёт «прибавочной стоимости» профсоюзников.

Сочинитель К. С профсоюзами всё ясно, их приучили следовать генеральной линии. Но городские-то библиотеки должны...

Инженер К. И городские везут.

Сочинитель К. Они же всё время плачут, что нет денег на покупку книг.

Инженер К. Наверное, им нужны другие книги. Но как инженер-химик могу добавить, что качество текста на качестве туалетной бумаги не отражается. Рулон, сделанный из «Конармии», нисколько не лучше рулона из «Как закалялась сталь».

Сочинитель К. Там что, по авторам сортируют?

Инженер К. Интересная идея. Если бы на каждом рулоне красовалась фамилия автора, можно бы и цену поднять, но всё равно нерентабельно, технология слишком усложнится. Хотя, по нынешним нравам, можно ограничиться разнообразием портретов на упаковке, а в смеситель кидать, как и прежде, без разбора. Надо предложить начальству, может, премию выпишут.

Сочинитель К. Серьёзно, что ли?

Инженер К. Я же к твоим шуточкам с пониманием отношусь. А если серьёзно, то, глядя на ленту транспортёра с книгами, у меня возник вопрос. Всем известно, что фашисты сжигали книги на площадях. Всё прогрессивное человечество безоговорочно осудило сей вандализм. А как оценить то, что делают с книгами при наших демократах? Что бы ты предпочёл: быть сожжённым на площади, пусть и при зловещей, но всё-таки торжественности, или чтобы тобой вытерли задницу в укромном месте?

Сочинитель К. Не мною всё-таки, а книгой.

Инженер К. Не придирайся к словам.

Сочинитель К. Я бы предпочёл, чтобы меня читали.

Инженер К. Это не ответ.

Сочинитель К. Понимаю. Тогда почему бы не сказать прямо: создавай шедевры, и никто не осмелится пустить их на подтирку?

Инженер К. Не надо нервничать. Шедевров там предостаточно. Я же уточнил, что высота слога и глубина мысли в технологии переработки не учитываются. Вопрос был задан о фашистах и демократах. Вопросец провокационный, но ты же у нас критический реалист, человек объективный.

Сочинитель К. Если объективно, то герой Грибоедова Фамусов за век до зарождения фашизма изрёк: «А чтобы зло пресечь — собрать все книги бы да сжечь». Кстати, при советской власти тоже сдавали макулатуру. За двадцать килограммов Достоевского можно было получить том Дюма.

Инженер К. Не надо сочинять. Достоевского всё-таки не сдавали. Могли по недоразумению и приличную книгу в пачку засунуть,

но тащили в основном газеты. А касаясь Дюма — можно бы и не ехидничать, поубавить снобизм, его полтора века читают, а вас...
Сочинитель К. Уел.

Инженер К. Сам напросился. Я провоцирую, а он увиливает. Это уже не критический реализм, а социалистический.

Сочинитель К. Нет здесь никакой провокации. Костры из книг были идеологическими зрелищами, а у нынешних властей идеология отсутствует.

Инженер К. А как же свобода? Не ты ли радовался, когда начали печатать Платонова? Кстати, и у тебя напечатали всё, что десяток лет в столе вылёживалось.

Сочинитель К. Нисколько не тоскую по советским временам, но это не значит, что я должен умиляться, глядя на сегодняшнюю жизнь. Все пламенные речи начала девяностых разбудили в людях самые примитивные желания: набить карман, набить брюхо и справить похоть.

Инженер К. Можно подумать, что между семнадцатым и девяносто первым годами народ питался лозунгами и занимался онанизмом.

Сочинитель К. У кого ты научился передёргивать?

Инженер К. Газеты не читаю, но телевизор-то смотрю.

Сочинитель К. Вот именно — голубой экран! Он и аппетиты разжигает, и пороки легализует. Яркий пример — постоянная гостья экрана, дочка златоуста перестройки Собчака. Активно завоёвывает массы. Чем? Непонятно. Девица, которую даже смазливой назвать нельзя. Видел недавно её портрет в витрине киоска: стоит, опустив шаловливую ручонку в приспущенные трусики. Это что — новая статуя свободы? У меня даже возникло подозрение: не о такой ли свободе потаённо мечтал её папаша, когда произносил праведные речи с трибуны съезда? Частенько случается, что неразумные дети выдают сокровенные секреты своих родителей.

Инженер К. В каком смысле?

Сочинитель К. В самом прямом. Услышало, например, дитяtko, как папа с мамой мечтают вслух о покупке машины и поездке на ней в Грецию, в которой всё есть. Услышало и побежало на улицу хвастаться, что в каникулы поедет в Грецию на своей машине, нисколько не догадываясь, что деньги в родительском чулке не совсем праведные, а за мечту о Греции папу могут вызвать на партком и всыпать по первое число.

Инженер К. Подожди. Партком, неправедные деньги — это же при советской власти.

Сочинитель К. Какая разница? Типажи остались прежними, а пороки не стареют, они постоянны во все времена и могут показаться добродетелью только в рекламную паузу.

Инженер К. И что же получается?

Сочинитель К. То, что получилось. А в общем-то, я уже перестал удивляться. Иначе наша любимая Россия и не умеет. Пережив перестройку, я совсем другими глазами увидел события начала прошлого века с Распутиными, Керенскими, Ульяновыми, Пуришкевичами, Коллонтаями...

Инженер К. Футуристами, акмеистами, конструктивистами, ничевоками...

Сочинитель К. Они тоже не остались в стороне, но на десятых ролях, всё решали белые, красные, махновцы, котовцы и так далее.

Инженер К. Но без нового Феликса всё-таки обошлись.

Сочинитель К. Должны же извлекать хоть какие-то уроки. Да и кто знает, что впереди?.. Мне кажется, я прочувствовал ту атмосферу. Очень многое повторилось: похожие герои, похожая демагогия, похожие обещания, похожие надежды и похожие разочарования. Это и в политике, и в быту. Но в литературе после революции был взлёт, пусть и недолгий, а теперь упадок. И боюсь, что затяжной.

Инженер К. Почему?

Сочинитель К. Они отталкивались от великой русской классики, а мы — от соцреализма.

Инженер К. Но на подтирку-то гонят и классиков.

Сочинитель К. Отучили. Народ потерял обоняние и не в состоянии отличить тухлятину от свежего продукта.

Инженер К. Прости, но классика не может быть свежим продуктом по определению, она должна вылежаться, в лучшем случае — это консервы.

Сочинитель К. Вы, технари, буквоеды. Всё понимаете однозначно.

Инженер К. Так профессия обязывает. Для меня классика — таблица Менделеева, а ваша, пока вылёживается, может и устареть.

Сочинитель К. Тогда это не классика, а «литпамятник». Но попробуй перечитать «Бесов», «Хаджи-Мурата» или даже «Левшу» — это всё о наших днях. В Салтыкова-Щедрина загляни. А народ смотрит в телевизор и видит прозаиков Маринину с Арбатовой и поэта Рубальскую. Потому и тащит в макулатуру всё без разбора. Кстати, книги Владимира Сорокина там не попадались?

Инженер К. Владимира? Не припомню.

Сочинитель К. И не силься.

Инженер К. Его что, совсем не издают?

Сочинитель К. Издают, и очень хорошо. Но тексты его переполнены тем самым продуктом, для которого предназначена туалетная бумага, поэтому для производства подтирки непригодны.

Инженер К. Повторяю для особо тупых: качество текста в технологии не учитывается.

Сочинитель К. Да я пошутил. Сорокин, вслед за своим уникальным однофамильцем из Омска, любит поозорничать, постоянно

чего-то ищет и порою бывает весьма любопытен. Немцы любят его переводить.

Инженер К. И ты любишь озорничать, но немцы тебя не переводят. И вообще, неэтично критиковать коллег по цеху. Народ их читает, издатели им деньги платят. Завистью попахивает.

Сочинитель К. Мы в разных цехах. А о той литературе очень хорошо сказал мой брат-«дикоросс» Лёша Шманов: «Читать её можно, но писать-то какво». Я много чего пропил за долгие годы, но остатки стыда исхитрились уцелеть. Попробую, конечно, избавиться от них, жаль, времени маловато осталось, но обеспеченной старости я тебе гарантировать не могу.

Инженер К. А я, наивный, надеялся.

Сочинитель К. Что ты скулишь? Валентина, жена, ни разу не попрекнула.

Инженер К. Потому и не попрекнула, что я за тебя отдувался.

Сочинитель К. Потому что она Человек!

Инженер К. А я разве спорю? Давай выпьем за её здоровье.

Сочинитель К. Обязательно! Устала баба от нашей распри.

Инженер К. Конечно, устала. Но не пора ли нам с тобой слиться воедино? Я теперь пенсионер. Что нам мешает?

Сочинитель К. Ничего не мешает. Будем называть себя инженером, сочиняющим мемуары.

Инженер К. Мемуары вроде как не сочиняют?

Сочинитель К. Ещё как сочиняют. Только зря ты поведал мне про свою подтирочную фабрику. Не знаю даже, смогу ли после этого сесть за письменный стол.

Инженер К. Извини, но ты сам просил не прятать от тебя горькую правду жизни. Давай выпьем, а там видно будет. Чего заранее паниковать?

Сочинитель К. Своевременное предложение.

Инженер К. Да, чуть не забыл. Сразу за проходной стоит симпатичный памятник Ильичу.

Сочинитель К. Какому?

Инженер К. Ну, не Брежневу. Настоящий Владимир Ильич. В кепке. Но главное, что в руках у него раскрытая книга.

Сочинитель К. Может, она и надоумила деловых людей построить фабрику? Ты подскажи своему начальству, чтобы предприятие назвали «Заветы Ильича».

Инженер К. Осмелели братья-писатели. Дорвались до безнаказанности. Как тут не поглумиться?

Сочинитель К. Это я от расстройства. Ты вроде выпить предлагал.

Кстати, Серёжа Мамаев прислал мне шикарного чира из Туруханска.

Инженер К. Не тебе, а нам.

Сочинитель К. Правильно подсказываешь: нам!

Инженер К. За это и выпьем.

Сочинитель К. Нет, сначала за Валюшу.

Инженер К. За Валюшу! Может, пойдём разбудим?

Сочинитель К. Пожалуй, не стоит. Давай выпьем за наше воссоединение!

Инженер К. За наше воссоединение! Делить-то нам нечего.

Сочинитель К. Абсолютно. А третий тост — за любовь! Я, например, к тебе очень хорошо отношусь.

Инженер К. И я тебя уважаю.

Сочинитель К. Врёшь, подлец, но всё равно — наливай!

Вот так и ворчим друг на друга чуть ли не каждый день. До рукоприкладства не доходит, но на крик порою срываемся. Однако миримся. А что делать? Жить-то надо...

Июль 2006

И ЕЩЁ ДЕСЯТЬ БЫСТРЫХ ЛЕТ

Сочинитель К. Летят годики. Чем дальше, тем быстрее.

Инженер К. А что бы ты хотел? Это называется «ускорение свободного падения». Физика — наука строгая. Это тебе не литература и даже не философия, серьёзная наука разнотолков не позволяет.

Сочинитель К. Но жизнь порой перечёркивает все физические законы.

Инженер К. Когда восемь лет назад ты порывался запротоколировать нашу беседу и обозвать её «Два года спустя»?

Сочинитель К. Просто испугался за тебя после инфаркта.

Инженер К. Я здесь ни при чём. Инфаркт случился с тобой.

Сочинитель К. Почему именно со мной?

Инженер К. По логике. Во-первых, я всегда вёл подвижный образ жизни: мотался по командировкам, шлялся по тайге, сплавлялся по рекам, в молодости даже спортом занимался, между прочим, чемпионом института был. А ты всю жизнь протирал задницей стул. Во-вторых, моя карьера была вполне удачная, начальство меня, может, и не очень любило, но ценило, коллеги уважали, а заказчики вообще распинались в благодарностях, за что имею государственную награду, не какую-нибудь грамоту от профкома, а медаль, подписанную Георгадзе.

Сочинитель К. Подожди, дорогой, по нынешним временам надобно уточнять, какой именно Георгадзе. Может быть, бизнесмен Амиран, который перестрелял в подмосковном Красногорске местную администрацию?

Инженер К. Ты прав, пожалуй, подобные герои сейчас намного популярнее бывших партийных вождей, но я имею в виду секретаря Президиума Верховного Совета СССР, подпись которого стояла на всех важнейших документах рядом с ворошиловской. Это теперь писателям выдают ордена и медали непонятно за какие заслуги

и подписанные неизвестно кем, да ещё и деньги с героев за эти медали берут.

Сочинитель К. Допустим, не только писателям, но и политикам, а про деньги не знаю, мне никто не предлагал ни медаль купить, ни звание.

Инженер К. Потому что знают, что у тебя денег нет.

Сочинитель К. Да если бы и были. Равнодушен я к писательским регалиям. И более чем равнодушен — к должностям. Я читаю текст. Если он убог, пуст или фальшив, никакие регалии не заставят меня полюбить его.

Инженер К. Ну, это ваши разборки со шкалой ценностей. Я тоже равнодушен к регалиям, но благодаря этой медали я получил квартиру и прибавку к пенсии. Отвлёк ты меня со своим красногорским Робин Гудом. Я другое хотел сказать.

Сочинитель К. Очередную пакость обо мне?

Инженер К. Почему непременно о тебе? Извини, имею такое же право на внимание и собственное мнение. Наша принципиальная разница в том, что я был абсолютно уверен в полезности своего дела. На мою работу не было ни одной рекламации. А у тебя припрятана толстенная папка с рецензиями, в которых тебя в чём только не обвиняли и кем только не обзывали. Может, припомнишь, сколько раз тебя оскорбляли редакторы разных рангов? Ты даже теперь сомневаешься в своих способностях. А на старости лет появилось и самое страшное сомнение — в нужности того, что ты делаешь. Так кто из нас загонял себя в инфаркт?

Сочинитель К. С логикой у вас, господин инженер, всё в порядке. Возразить нечем.

Инженер К. Обидно, конечно, понимаю тебя, но получай, что заслужил. В утешение могу сказать: не ты первый, не ты последний. Сколько вас, напрочь забытых? Перечислять запаришься. Иные даже в нобелевских лауреатах числятся. Теперь их книги несут в макулатуру. А мои котельные продолжают работать и давать тепло.

Сочинитель К. Кто-то, наверное, и меня читает.

Инженер К. Как в том анекдоте: читатель у меня хороший, мне бы ещё парочку.

Сочинитель К. Давай топчи, если тебе это в удовольствие. Только на больничную койку меня загнали не внутренние рецензенты и не обманутые читатели.

Инженер К. Знаю. Последним толчком был погреб. Но заметь, это полностью твоя авантюра. Я подключился, когда все возможные ошибки были уже сделаны. Брать на себя инициативу я посчитал неэтичным, потому как в кои-то веки финансировал ты. Помнишь, надеюсь?

Сочинитель К. Разумеется. Кто же забудет первый большой гонорар за книгу, вышедшую в столице? Кстати, твой друг в это время менял

машину, ему надо было перехватиться между куплей и продажей, и мы его выручили.

Инженер К. Так он сразу же и отдал.

Сочинитель К. Всё чисто. К нему никаких претензий. Виновата шоковая терапия младореформаторов.

Инженер К. Хочешь сказать, что книга, а вместе с ней и деньги несколько припоздали? А тебе не кажется, что смутные времена и свобода печати взаимосвязаны?

Сочинитель К. Давай обвиняй литературу в подрыве государственных устоев и моральном разложении общества. А жуликоватый подрядчик тоже книг читался?

Инженер К. Не знаю. Может, он вообще ничего не читал, кроме «Похождений майора Пронина». Но, помнится, твои друзья сочинители размечтались, что рынок заставит заботиться о чести мундира, а я сразу говорил, что вместо доброкачественной продукции вы получите эрзацы и расплодите жуликов.

Сочинитель К. Ты оказался прав, а я, дурак, поверил в светлое капиталистическое будущее. А как не поверить? Интеллигентная дама с двумя толстыми папками бухгалтерской документации. Договора, расписки, выписки — всё официально, всё по закону. Голос проникновенный, уверяет, что сама вложились, а куда, мол, денешься — трое детей, не хочется, чтобы они травились нитратами, чуть ли не здоровьем их клянётся. Показала вырытый котлован и штабеля железобетонных блоков. Наглядная агитация произвела впечатление. Ну, я и вбухал все деньги в этот кооператив. Немалые, год назад их на дорогой автомобиль хватило бы. Дикая инфляция, а так хоть шерсти клок. От Союза писателей участок под дачу выделили. Картошку посадил, надо же как-то выживать. Взнос делал глубокой осенью. Зимой в погреб спускать нечего, поэтому замороженная стройка почти не беспокоила. Верил, что весной пригонят кран и к будущей осени управятся. Собственно, и делов-то — выставить блоки, уложить перекрытия, смонтировать люки и засыпать землёй. Но весной кран не появился, зато исчезла половина блоков. Я позвонил дамочке. Она успокоила, что ничего криминального не случилось, просто подрядчик перекинул их на объект, который почти завершён, сдаст его и без промедления примется за наши погреба, не отвлекаясь на другие заказы.

Инженер К. Она вроде и про губернатора сказала.

Сочинитель К. Про его тещу. Погреба строились во дворе дома, в котором целый подъезд заселён университетскими преподавателями. Заверила, что и теща тоже деньги вложила.

Инженер К. И ты поверил, что она картошечку окучивает?

Сочинитель К. Ты бы слышал, каким многозначительным шёпотом дамочка выдала информацию.

Инженер К. На заре демократии любыми сказками не брезговали.

Сочинитель К. Равно как и на заре советской власти: и сказками, и посулами, и клятвами. Хотя губернатор не из партийных работников вышел и не из торговых. Советские профессора пусть и не бедствовали, но жили весьма скромно, так что и в картошечку можно было поверить. Только разговор-то о нечестном подрядчике. Ждём кран, а его всё нету. Дотерпели до июля. Края котлована зарастают бурьяном, а дно — пластиковыми бутылками. Подрядчик потерялся. Собрались обманутые вкладчики. Дамочка изображает спокойствие, заверяет, что всё под контролем. В том смысле, что новый подрядчик уже найден и готов приступить к работе хоть завтра, но требуется внести определённую сумму, потому как цены на бензин растут слишком быстро. Народ не безмолвствует. Когда у народа требуют деньги, он становится криклив. А народу много. Замахнулись-то на сотню погребов. Не все предрасположены к митингованию, но десяток прирождённых крикунов способен распалить даже самых инертных. Один из ораторов до сих пор перед глазами. Краснорожий с рыжими кудрями, пальцы сжаты в пухлый кулак, а на пальцах татуировка: «МИША». Голосишко сиплый, с подвизгиванием. Да хоть бы дело говорил — стандартный набор обвинений и угрозы непонятно кому. Кричали до темноты. Но платить всё равно пришлось. А куда деваться? Отданные деньги, если даже и выцарапаешь, за год усохли до неприличных размеров. Смирился под напором обстоятельств. Оставалось искать деньги. Но где? Напечатал в «Енисее» повесть. Выхожу из редакции, встречаю Третьякова. Прикинули, что на скромную выпивку без закуски, может быть, и наскребём, а курево уже стрелять придётся. В советские времена, кстати, на гонорар за эту повесть можно было бы купить готовый погреб и обмыть покупку в ресторане. Только кто бы её напечатал?

Инженер К. Да что там ваши гонораришки? Я кислотную промывку котла сделал, кислота попала на часы, и они встали, а когда через полгода получил деньги, на новые часы их уже не хватило. Потом на кирпичном заводе подкалымил. Расплатились продукцией, два кубометра кирпича выписали, но как его вывезти? Месяц, по советской привычке, искал халявную машину. А времена уже другие, и люди не те. Договорился с леваком. Когда приехал за грузом, его уже кто-то приватизировал. А платить водиле всё равно пришлось — он время и бензин потратил. Время, может, и своё, а бензин наверняка ворованный. Но тем не менее.

Сочинитель К. Деньги заняли у друга, которому когда-то давали на машину. Новый подрядчик осмотрел котлован и заявил, что его надо углублять. А это дополнительные взносы. Активисты организовали сходку. Погода была неважная, народу собралось немного, но крику не убавилось. Дамочка, кстати, не рискнула явиться, а потом и на телефонные звонки перестала отвечать. Зато рыжий Миша из кожи

лез. Обвинял, угрожал и ничего не предлагал. Кто-то напомнил ему, что он последний взнос не сделал, но он даже оправдываться не стал, вроде как мимо ушей пропустил. А мне снова занимать. К осени всё-таки смонтировали треть погребов. Сдвинулись с мёртвой точки. Появилась надежда. Но в очередной раз кончились деньги. Подрядчик, видимо, надеялся, что, увидев реальные сдвиги, народ кинется скрести по сусекам и отдаст последнее. Но не подумал, что и терпение не беспредельно. Взбунтовался народ. Выбрали новый актив. Кто-то предложил Мишу на пост председателя, но тот скромненько спрятался за чужие спины и отмалчивался. Зато нашёлся среди нас мужик с прорабским опытом.

Инженер К. А где же он раньше был?

Сочинитель К. Вместо него жена ходила на собрания. Прораб потребовал смету и сразу понял, куда уходят наши деньги. Техники у продвинутого подрядчика никакой, вся наёмная. Допустим, пригнали к нам кран, поработал он во вторник и четверг, остальные дни недели эта же машина исправно пашет ещё на двух объектах, а с нас дерут за полную неделю и с тех бедолаг по этой же схеме. Ещё кое-какие хитрушки обнаружил и объявил, что будем достраивать сами. В соседних домах отыскал и крановщика, и сварщика, которым нужны погреба. А подсобных рабочих набрал из нас.

Инженер К. В университетском подъезде наверняка нашлись крепкие парни, побывавшие в стройотрядах.

Сочинитель К. Из них и рекрутировали основную рабочую силу. В общем, управились довольно-таки быстро. Даже закрома успели засыпать.

Инженер К. А рязжий обличитель внёс трудовой вклад?

Сочинитель К. Нет, конечно. Я его и не видел после собрания. Не до него как-то. Дело в другом. Достроили, но американского кина с хэппи-эндом не получилось. Всё по нашему российскому сюжету. Московская эпидемия точечной застройки докатилась до провинциального Красноярска, который, если верить географическим картам, а не гадальным, находится в сердце России. В один из чёрных понедельников возле наших погребов начали рыть котлован под новый дом. Протестовали не только погребовладельцы, жители ближайших домов отсылали по инстанциям сначала гневные, потом жалостливые челобитные... Слабенькие надежды: «Вот приедет барин, барин нас рассудит», — и традиционная развязка: «Барина всё нету, барин всё не едет». Кстати, бывшего губернатора успели переизбрать, так что если бы мифическая тёща и оказалась в наших рядах, помочь бы всё равно не смогла. Я попросил знающего человека прояснить ситуацию. Он сразу сказал, что если чиновников заинтересовали, то нет смысла терять время и нервы, надо пытаться хотя бы получить компенсацию. Для этого требовались документы о праве на строительство погребов, или,

по-казённому «овощехранилищ». Естественно, что оформлены они были недостаточно грамотно. По крайней мере, нам заявили именно так. Доказывать обратное — бесполезно. И начались хождения по присутственным местам, выстаивания в душных обозлённых очередях, новые поборы. А российские стряпчие, или, как их теперь называют, менеджеры, способны загнать в гроб любого человека. Меня хватило на половину дистанции. Отлежался на операционном столе и махнул рукой на этот погреб и на все потраченные деньги.

Инженер К. Десять лет писал книгу, получил за неё большой гонорар, вбухал его в дешёвый погреб, который в итоге попал под снос.

Сочинитель К. Можно сказать и так: зарыл талант в землю. Классическая библейская история.

Инженер К. Ладно, пока я жив, для господина сочинителя деньги третьестепенны, это бесславное и грязное занятие ты давно переложил на меня. Но историю с погребом надо было всё-таки преобразовать в повесть. Получилось бы весьма злободневно.

Сочинитель К. Опять упрёки?

Инженер К. А ты как хотел? Коли уж объявил себя писателем — будь им. Помнишь, когда я получил квартиру под самострой (заметь — не ты)...

Сочинитель К. Как не заметить, если постоянно тычут. Что дальше?

Инженер К. Жена Сыча удивилась, что ты не использовал такой шикарный материал.

Сочинитель К. Потом увезла Сыча в Америку, и Женя вообще перестал писать, а он далеко не из тех, кто черпал силы и вдохновение от земли русской. Ему без разницы, где жить, его родина и среда обитания — книжная полка. Но, тем не менее, замолчал. Может, всё-таки дело не в земле, а в воздухе? Вирус графомании в российском воздухе намного заразнее, нежели в американском. И опаснее.

Инженер К. Я где-то читал, что Исландия на первом месте по количеству писателей на душу населения.

Сочинитель К. Мне ваши Европы и Америки не указ. Я пишу для русского читателя.

Инженер К. Разумеется, потому что им наши беды непонятны и неинтересны. Вот и написал бы для русского читателя про перипетии самостроя, потом про заморочки с освоением дачных участков в начале девяностых, и завершил бы погребом. Вот тебе и трилогия. Жильё и кормёжка — самые больные вопросы даже в спокойные времена, а в революционные, в период распада общества и падения нравов — плодороднейшая нива.

Сочинитель К. Яркие типажи, свежие сюжетные ходы, срез времени... Я могу назвать ещё десяток не написанных мною книг.

Инженер К. Нашёл чем хвастаться. Профукал? Лень-матушка?

Сочинитель К. При чём здесь лень?

Инженер К. Значит, таланта не хватает. Жаловаться, что долго не печатали, проще всего. Теперь-то печатают. В московском издательстве здоровенный том вышел. Надо сконцентрировать волю и «выдавать на-гора».

Сочинитель К. Касаемо таланта и воли, может, ты и прав. Но есть такое понятие, как элементарная усталость. Если докапываться до причин и следствий, придётся снова вспоминать о тех, кто творил мне пакости, причём не из трусости под давлением обстоятельств, а намеренно, ради удовольствия; но говорить о них — никакого желания. Переломы плохо-бедно срослись. Чешутся порою, а чесаться неприлично. Намного приятнее вспоминать о тех, кто пытался помочь, хотя бы морально: о Владлене Белкине, Володе Леоновиче, Гамлете Аругюняне. Гамлет мало того что всегда верил в меня и не давал раскиснуть, он и спонсора нашёл для издания петуховских историй, да и вдохновил на них тоже он. Юра Беликов очень помог, воскресил похороненного мной поэта. Я уже простился со стихами, думал, что они ушли навсегда, но после знакомства с ним стихи стали возвращаться, за последние годы сотни полторы записал, и некоторые весьма приличные.

Инженер К. Это про Манделу приличное?

Сочинитель К. Нет, про Манделу писал при советской власти, когда Валера Ковязин в «Блокноте агитатора» квартиру зарабатывал. Сидели они в Доме политпросвещения, а в подобных конторах всегда богатые буфеты. Взял я партийного пивка и поднялся к Валере. У него как раз девушки журналистскую практику проходили. Старый ловелас распустил хвост и спрашивает, не могу ли я поговорить с художником Бахтиным, чтобы Витя для их органа картинку нарисовал. Говорю, что он вряд ли возьмётся, ему птичек и собольков хватает. Тогда он меня озадачивает на предмет стихов для их сверхсерьёзного издания. Послать его при студентках неэтично, и я скромно обещаю постараться. Валера выпендрился и забыл, а я привык свои обещания выполнять. Написал стихи в защиту Манделы. Не напечатали, разумеется, но он шутку оценил, бутылку поставил.

Инженер К. Обо мне, разумеется, не вспомнил.

Сочинитель К. Ну как про тебя забуду? Перед тобою и Валею в неплатном долгу за то, что терпели меня всю жизнь.

Инженер К. Поднадоел ты нам. Особенно мне.

Сочинитель К. Да и Вале, наверное.

Инженер К. Может, пойдём разбудим и спросим?

Сочинитель К. Она спросонья такого наговорит — никаким юбилеем не отбрешемся.

Инженер К. Я, пенсионер, как-то и забыл про него.

Сочинитель К. Серьёзная дата. Можно сказать — пугающая.

Инженер К. Хочешь итоги подводить?

Сочинитель К. Было бы что подводить. Может, перенесём ещё на десять лет? Авось и сотворю нечто этакое... Пока не знаю какое.

Инженер К. Ну ты оптимист!

Сочинитель К. Вот за это и предлагаю выпить.

Инженер К. За что? Извини, не понял.

Сочинитель К. За появление оптимизма.

Инженер К. Что-то припозднился он.

Сочинитель К. Лучше поздно, чем никогда.

Инженер К. Банальности стал изрекать.

Сочинитель К. Так старею, а старики всегда говорят банальности, хотя им кажется, что они вещают нечто мудрое. И вообще, хватит надо мной издеваться, давай выпьем.

Инженер К. Эко тебя понесло. После инфаркта пить нельзя.

Сочинитель К. Я и не буду. Ты выпьешь, а я кваском запью.

Инженер К. Согласен. У меня к этому дню пара огурчиков на даче выросла. Маленькие, но сорвал. И молоденькой картошечки отварил. Соседи жадничают, ждут, когда с кулак будет, а я четыре куста выкопал, и полакомиться хватит. Гулять так гулять!

Июль 2016

Ирлан Хугаев

Русский дух Марины Саввиных

Все поэты делятся на идеалистов и формалистов — в зависимости от того, как они решают основной вопрос поэтики — вопрос первичности содержания или формы. Марина Саввиных — ярко выраженный идеалист: идейная заострённость и пафос, преданный её оппонентами анафеме, неотделимы от её лирического тембра. Она по-толстовски не приемлет стилистических изысков, не поверенных нравственным отношением к жизни и литературе.

Марина Саввиных — безусловно русский поэт («здесь русский дух», и здесь начало её идеализма). Её творчество подтверждает умозрительные догадки о том, что искусства — прежде всего поэзии как словесного искусства — не бывает вне национальности. Арифметика не может быть национальной, а поэзия не может не быть национальной.

Что делает её русским поэтом? Её владение русским языком, включая все его лексические пласты, глубоко и академично. Её творчество возвращает слова «к родному смыслу»: поэтически это больше, чем открытие нового смысла. И в то же время в этой филологической душе «бродят древние наитья». Её поэтический слух безупречен: он учтёт все обертоны слова и строки. У неё — «бездомная луна», «священный ужас», «каторжный Христос» и «рыдающий Аллах». Ей мало чистой: у неё «пречистая русская речь». Это — владение языком в той степени, когда язык владеет человеком.

Русским поэтом делает её укоренённость в русской поэтической традиции. Неспроста она любит Тютчева, у неё есть историческое созерцание и ясность мысли («Есть тайные случайные дары, // Судеб и знаков скрытые сближенья...»). Но Цветаева и Ахматова тоже любили Тютчева. Марина Саввиных неизбежно мыслится в ряду самых благородных и изысканных лирических героинь от Гиппиус до Ахмадулиной. Её стихи красивы, как скрипичный знак, бокал или кортик; так могла бы писать Прекрасная Дама Блока или Маргарита Булгакова: «Я — сгусток боли и стыда // Сестёр, сожжённых без суда». Женская поэзия — объективный феномен. Женской арифметики нет, а женская поэзия есть.

Русским поэтом делают её христианская этика («Не я, Господи, а Ты мне говоришь!..»), русский православный мистицизм («Беру огонь в рукав, как принимают схиму...»), самое ответственное — имперское — мышление и русское гражданство патрицианской высоты и высокомерия («Что вам дала, князья, гибельная наука: // Милую

степь бросать варварским сапогам?..»; «Олимпийская жесть подворотне скучна — // Подноготная истина ей не нужна...»)

Русским поэтом делает её живой и страстный интерес к другой судьбе, другой душе («*Души чужой взыскую! // Вот где грех!*»; «*Прочти меня, мой Чёрный Человек!..*»): поэзии нет без одиночества, но поэзии нет и без единства. На концептуальном уровне это — пристрастие к странствию в пределы иной культуры, иного языка, иной народной души («*Я заблудилась, город моей мечты, // Между твоими розами и огнями. // Что означают статуи и цветы? // Траурные стволы с мраморными ступнями? // Ты заблудил меня, околдовал и сдал // Царству чужих теней, призрачной паутине...*»). Поэзии нет вне национальности, но поэзии нет и вне интернационализма.

Поэтически Марина Саввиных делает большую и важную работу, которую русская душа, по Достоевскому, должна выполнить на уровне исторического и общечеловеческого бытия. Как русский народ примиряет между собой и соединяет в общий лейтмотив идеи и судьбы разных народов, так чуткий талант Марины откликается голосам других культур и тишине чужих пантеонов и некрополей. И эта симфония — эта симпатия — делает её русской и родной.

У неё — Иудея, Рим и Эллада, Дагестан, Кабарда, Чечня и Осетия («*О Кавказ, тоску вражды и мщенья // Утолив на переправе дальней, // Русский дух взыскует очищения // В роковой твоей исповедалине*»).

Нужно обладать известной мягкостью, чтобы быть восприимчивым к другим голосам, и надо обладать твёрдостью скалы, чтобы служить «эхом мира». Эта коллизия органично разрешается в переводческом творчестве Марины Саввиных. Её «*Мосты над облаками*» — вовсе не воздушные замки, это замечательный образец реалистического литературного зодчества; а последние переводы из современной поэзии Северного Кавказа, органично дополняющие этот очерковый цикл, отличаются качеством, которого редко достигали и при советском литературоцентризме.

Она переводит не стихи, а реальность. Ей надо увидеть человека, услышать его речь, его смех, потрогать деревья в его саду и воровски набрать простых каштанов. Вот почему в её переводах есть свои основания бытия; они хороши безотносительно к оригиналу и полны собственных, Марины, открытий, легко и естественно развивающих лучшие образы и интенции оригинала. Текст её перевода — литой и плотный, в нём нет обидных трещин и щербинок, — и всегда делает честь оригиналу: «*Нет за полночь огня — и над тобой // Уже не будет солнечного света... // Смотри, не верь тому, кто скажет это. // Так говорит о свете лишь слепой*».

Прекрасный символ поэтической веры. Этому можно верить: так говорит тот, кто строит мосты над облаками; а тот, кто строит мост, уже стоит на мосту.

Марина Саввиных

Стихи разных лет

* * *

По великим снегам, страну мою обуявшим,
 По тайге, белопенной, мехами до пят наклонной,
 По серебряным склонам с их яхонтами и яшмой —
 Под звездой путеводной, оранжевой и зелёной...

Твердь небесная, слякоть ли земляная,
 Вскользь по рельсам, вплавь — на плече парома...
 Но пока ты со мною — я точно знаю:
 Где бы я ни скиталась, я всюду дома.

Не затем ли нужны монахи, певцы, скитальцы,
 Чтобы звёзды пели, а песни во тьме сияли?
 Я ещё приеду сжать твои пальцы —
 И колени твои обнять,
 И выпить с тобой печали.

Ведь монахам, певцам, скитальцам — что в жизни надо?
 Чтоб любовь путеводная им далеко светила.
 И тогда любая стезя — отрада.
 И любая песня — оплот и сила.

И тогда по снегам великим, по тьмам крошечным,
 По нехоженным дебрям — к добру и ладу —
 Всё равно пробьёмся — на то нам, грешным,
 И урок отмерен — на вечность кряду!

* * *

Р. С.

Когда бы мы не умерли тогда,
 Не стали только словом, только знаком,
 Полуразмытым контуром следа,
 Клочком святыни, брошенной собакам,
 То кто б из нас узнал себя — в другом,
 В сосуде без орнамента и глянца
 И в площадной латыни итальянца,
 Край света обошедшего кругом?

* * *

Мы присутствуем с вами
При развоплощении слов.
Истончённая плоть —
Порожденье природы бесплодной.
Их тела лишены
И намёка на разность полов,
Их субстанция — пыль
В атмосфере, давно чужеродной.
Словно бледный моллюск
В известковой своей скорлупе,
Задыхается мысль,
Ипуская тлетворные токи...
И чумою гуляет,
Заразу пускает в толпе,
И скелетики слов
Забивают подземные стоки.
Помолчим! Этот воздух,
Что зрячим сжигает зрачки,
А ещё не глухим
Извращает значения слуха,—
Наших фраз испаренья,
Письмен ядовитых клочки,
Наркотический дым
Вездесущего рабского духа.

* * *

*В чистом поле брошусь на траву
И врагов на праздник позову...*

Анатолий Чмыхало

Становится безжалостно строга
Правдивая основа целой жизни —
И вот у человека нет врага,
А есть седой сотрапезник на тризне.

Как ни растленна слава у людей —
Блажен, кто превозмог её объятья,
Тогда у человека нет судей,
А есть лишь соучастники и братья.

Так время сопрягает имена
Всего, что есть, — судьбою, слово в слово:
Во всём твоя заслуга и вина,
И нет на свете ничего иного.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

Веронике Шелленберг

У монастыря стояла лошадь,
Свежий снег рассеянно жевала.
Снег спадал на призрачную площадь,
Как спускаемое покрывало.
Раньше это было или после?
В память загляну — из сердца выну:
Будто рядом с нею бурый ослик
Выступал из мглы наполовину,

Ослик с шоколадными глазами —
Со старинной выцветшей картины,
Где под золотыми небесами —
Яшмовые ветки Палестины,
Где в хлеву — случайный кров ночлега,
Где младенца нюхает овечка...
В вышине, не ведающей снега,
Белая звезда дрожит, как свечка.

Я к воротам шла приотворенным:
Ко Христу от пагубы и срама.
Пёс лохматый иноком смиренным
Молча проводил меня до храма.
И легли мне под ноги ступени,
Высоки, торжественны и твёрды,
И глядели вслед из снежной пены
Чудные светящиеся морды,
Словно мне отныне предстояло
И за них нести труды обета,
Ежели всем тварям воссияла
Вифлеемская планета.

* * *

Кого поистине полюбишь —
Не трогай никогда руками.
Пускай лучистая завеса
Не размыкается меж вами.
И даже если мýкой крестной
От сени веет милосердной —
Оставь любовь свою небесной,
Верни ей право быть бессмертной.

СТИХИ ПОД ДОЖДЁМ

Усталость отодвинь, как шкаф или комод!
Пусть сразу — тяжело, но после станет легче.
Смотри-ка, бойкий луч по ниточке снуёт,
Пробив дощатый свод на дрогнувшем крыльчке!

По нити дождевой, по нити дождевой...
Как в ливень упадёшь, так потеряешь голос,
Сравняв себя с травой, и выпьет голос твой
С водою корневой — надменный гладиолус.

Рассеянный гордец, он шпагою своей,
Опутанной дождём, грозит иным вселенным —
Чем бремя тяжелей, тем стан его прямей,
Его ещё никто не видывал согбенным.

По нити дождевой осколок световой,
Пульсируя, снуёт, назло крыльцу и тучам...
Давай же соскользни — по нити дождевой —
Как семечко в гряде, в круговорот живой,
Сомкнись с самим собой в его котле кипучем!

* * *

Из этой боли суть её извлечь —
И превратить в единственное слово,
Да так, чтоб после не утратить речь,
Платя с лихвой за золото улова...

Немыслимое это мастерство
Исполнено такой смертельной муки,
Что впору отказаться от него
И навсегда окаменеть в разлуке!

Так что ж тогда и временный успех,
И гонка за земной непрочной славой,
Когда слова, что сокровенней всех,
На сердце оставляют след кровавый?

Татьяна Розманова

автор-составитель

Приенисейский говор

Готовится к изданию «Культурологический словарь Приенисейского края», в котором оригинальным образом через слова-понятия отображены история и традиции региона, быт и особый характер сибиряков-старожилов. Объяснена этимология слов, являющихся памятником духовной культуры нескольких поколений сибирских крестьян.

Автор иллюстрирует рассказ яркими примерами, цитатами из уникальных источников, рассказами очевидцев, привлекает редкие сибирские пословицы и поговорки.

Каждый архивный листок, воспоминание или старая пожелтевшая фотография являются величайшей духовной ценностью и помогают бороться с равнодушием к родной истории.

Через старые, забытые, давно и совсем недавно ушедшие в прошлое слова (исследователи называют их диалектизмами) и другие образцы устной культуры сибиряков возможно обогащение людей знаниями о родном крае, воспитание любви к нему.

АНЦИФЕРОВО

Впервые я услышала это, как мне тогда показалось, странное название лет в пятнадцать, когда гостила в семье Юрия Васильевича Петрова в посёлке Стрелка на Ангаре. Приехала тётя Надя из Енисейска, в свои сорок семь тоненькая, как девочка. За большим обеденным столом, уставленным тарелками с горячими щами, крупно нарезанным свежим, ноздреватым, с хрустящей корочкой хлебом и кусками янтарной ангарской стерляди, вкуснее которой в мире рыбы нет, она рассказывала, как была вчера у родственников в Анциферово, и решительно отказывалась от еды, уверяя всех, что от анциферовского угощения она до сих пор сыта. Мне было смешно. Добрая, славная тётя Надя! Просто она ест непривычно мало, а радушным хозяевам свойственно потчевать.

Позднее я узнала, что Анциферово — это старинное село в Енисейском районе, расположенное на правом берегу Енисея, в восьмидесяти километрах от города Енисейска.

Заложено Анциферово было как зимовье в 1639 году и считается, что названо было по имени то ли первопроходца, то ли казака Анциферова. Со временем возникла уже деревня, которая называлась «Анциферов Луг», ставшая впоследствии Анциферовской, или Анциферовой.

В «Обозрении столбцов и книг сибирского приказа» Н. Н. Оглоблина говорится: «Внизу по р. Енисею на Онцыферовом логу крестьян: Ивашко Кытман, у него 2 сына да 5 лошадей, заводен.— Жданко Павлов, у него 4 лошади, пашет наймиты.— Марко Иполитов, у него 4 лошади, заводен.— Павлик Карга, у него 4 лошади, заводен. И т. д. . . В дер. на Онцыферовом логу было 18 дворов¹ (документ датирован 154 г.² — это 1646 г.).

«Заводными» считались крестьяне, имеющие не менее четырёх лошадей (в среднем до десяти-двенадцати, но было и больше — до двух с лишним десятков), и «пашни пашут немалые», и большие патриархальные семьи: «отмечаются также зятья, братья и вообще все работники семьи (иногда и дочери) . . .», «сыновья даже женатые всегда живут с отцами». А «молотчими» — у кого были одна или две лошади. Детей не отмечено, видимо, это молодые, не ставшие на ноги семьи.

В прошлом названия населённых пунктов часто изменялись вместе со статусом: построят церковь — и деревня становится уже селом, а название женского рода изменяется на название среднего рода. Деревня Анциферова стала селом Анциферовским в 1865 (или 1866) году, когда была построена деревянная Анциферовская Николаевская церковь, приписанная к приходу Усть-Питской Христорожественской церкви³. и впоследствии сгоревшая. На её месте в 1880 году была заложена новая, уже каменная, на деньги потомственного почётного гражданина, енисейского купца первой гильдии И. П. Кытманова⁴. Её строительство продолжалось два года.

Первым жителем Анциферово был крестьянин Исай Кытманов. По одной из версий, эта фамилия принадлежит к очень старому типу семейных именований, образованных от личных прозвищ, причём имеющих тюркскую основу: в ряде тюркских языков «кетмон» — это вид мотыги, а значит, «кытман» — это земледелец или ремесленник, изготавливающий этот вид орудия труда⁵. Меня к мысли о тюркском происхождении фамилии подтолкнуло её звучание, догадалась по

1. Оглоблин Н. Н. Обзорение столбцов и книг Сибирского приказа (1592–1768). Ч. I. Документы воеводского управления. М., 1895. С. 354–355.
2. По византийскому летоисчислению, применявшемуся в России до 1 января 1700 г.
3. КГБУ ГАКК. Ф. 277. Оп. 1. Д. 135. Л. 1,3,6 (Анциферовское волостное правление. Дело о строительстве Анциферовской деревянной церкви 1861–1867 гг.)
4. КГБУ ГАКК. Ф. 277. Оп. 1. Д. 1589. Л. 2 (Анциферовское волостное правление. Дело о постройке в д. Анциферовой новой каменной церкви купцом Кытмановым. 1880 г.).
5. Происхождение фамилии Кытманова / Анализ фамилий. [Электронный ресурс] www.analizfamilii.ru (дата обращения: 9.12.2015).

найтию, так можно сказать. Думается, что это родовое имя могло быть образовано от нескольких тюркских слов. У многих сибирских народов (киргизов, алтайцев, татар) частица «кыт», «кыс» или «кыш» составляет основу таких слов, как «зима», «зимовать», «зимник». Например, «кытлак» у сибирских татар означает «зимовка». В части тюркских диалектов «ман» носит смысловую нагрузку «человек», а также «препятствие». Получается, что «кытман» — «человек, поставивший зимовку», или «зимняя остановка», «застава». Ещё более древнее тюркское «ма» имеет значение «шаг», «бег», «хождение» (отсюда река Мана?). Поэтому может быть — «пришедший зимой». Это всего лишь версии. Но что-то в этом есть — ведь первые поселения в Сибири и возникали из первых зимовок и заимок. Именно так Исая Кытманов основал Анциферово, а Изосий Кытманов в 1727 году основал село Кытманово на Алтае. Пришли ли они в Сибирь с этим прозвищем или же приняли его здесь, установить вряд ли возможно, слишком долгим и сложным является путь возникновения фамилий.

Точных данных нет, но считается, что он-то и был прародителем очень большого рода, из которого вышла в том числе известная губернская купеческая династия Кытмановых, золотопромышленников и меценатов, внёсших большой вклад в развитие Енисейска и Енисейского уезда. Насколько это был большой род, можно судить по архивным документам: в 1812 году в Анциферово Кытмановых было двадцать восемь семей⁶, как «заводных», так и «молотчих». В том далёком прошлом это было частое явление в Сибири: приходил крестьянин или казак, оседал на понравившемся месте, и через какое-то время вырастала здесь целая деревня, а потом и село почти из одних только родственников. Среди Кытмановых было много деятельных, грамотных, энергичных людей. Они были не только крестьянами и рыбаками, но и предпринимателями, учёными, общественными деятелями. Из этого рода вышел и мой прадед — Варфоломей Степанович Кытманов.

БОГАТЫРИ

Как это ни удивительно, но так назывались картинки с изображениями природы, сенок из жизни, иллюстрациями религиозных текстов или карикатур. А название пошло от первых лубочных изображений былинных русских богатырей. На деревянных, металлических или каменных досках вырезалась картинка, которая потом отпечатывалась на лист бумаги, в результате чего получалось что-то вроде гравюры. Первые прототипы «богатырей» — немецкие потешные печатные листы — появились в Москве в семнадцатом веке. Со временем, уже

6. КГБУ ГАКК. Ф. 277. Оп. 1. Д. 2. Л. 2 (Анциферовское волостное правление. Книга, учинённая в Анциферовской волости Правления для сбора государственных податей. 1812 года 2-ю половину).

переработанные в духе и понятиях русского народа, они получили большое распространение. Мода пошла с торговых сёл, лежащих вдоль трактов. По деревням ходили разносчики товаров, предлагая среди прочего и этих «богатырей»: «Пришёл торгош, мне чать — с товаром, а он-де с богатырями!» Как правило, эти картинки были плохого качества и дурного вкуса, но редкая изба не могла похвастать ими, висевшими на всех стенах.

«От образа в углу тянутся по обе стороны лубочные картины; тут портрет государя, непременно в нескольких экземплярах, Георгий Победоносец, „Европейские государи“, среди которых очутился почему-то шах персидский, затем изображения святых с латинскими и немецкими подписями, поясной портрет Баттенберга, Скобелева, опять святые... Спрос на художество здесь большой, но бог не даёт художников» (А. П. Чехов, «Из Сибири») ⁷.

По одним данным, название «богатыри» бытовало и в среде старых поселенцев Сибири. Но всё же чаще встречается другое название — «панки», о нём упоминают В. И. Даль и русский историк, этнограф и фольклорист И. М. Снегирёв.

Бурилка (БОТ)

Бурилка — ботало для «пуганья» рыбы. Этот предмет представлял собой длинный шест, на конце что-то типа полого конуса: им со стуком и шумом били по воде, чтобы загнать рыбу в поставленную сеть (их называли ботовые) или другую ловушку.

Бус

Бус — дождик, долгий и такой мелкий, что падает чуть ли не в виде тумана. Мама говорила: «Бус-то зарядил, сеет и сеет». Слово заимствовано из тюркского. У енисейских татар «бус таш» — это град, а «бус сувы» — ледяная вода.

А на Урале и в Западной Сибири слово «бус» обозначало мучную пыль.

БЫГАТЬ

У этого слова было три значения: прежде всего — обсыхать или отогреться с непогоды: «Раздевайся, проходи, абыгай маленько, замёрз весь»; также — крепнуть после болезни; ну и, наконец, — отдыхать, приходиться в себя.

Что касается последнего, то «приходить в себя» в прежние времена в Сибири многим пришлым и вольным, не крестьянам, не холопам, а, как их называли, гулящим людям, приходилось при весьма специфических обстоятельствах. Это была своего рода болезнь, ярко и достоверно описанная в русской литературе.

7. Чехов А. П. Из Сибири. Иркутск, 1985. С. 11.

«На прииске рабочий смирен, перенослив в труде, терпелив до-
нельзя везде, где труду его умеют дать надлежащее направление.
Не тот рабочий в деревне после расчёта, когда он прогуливает всё,
что так тяжко ему досталось. Две недели он совсем другой человек
и находится в каком-то бешенстве, как будто белая горячка постиг-
ла его. Он... старается истребить всё, что есть у него, и как будто
намеренно заботится о том, чтобы изломать и изуродовать свою
крепкую природу. Если это ему не удаётся, он опять отправляется в
тайгу, „быгать“... В январе-феврале опять время наёмки... Некото-
рым удаётся принести рублей 200–300, которые пропиваются либо
проигрываются...» (С. В. Максимов, «Сибирь и каторга») ⁸.

БЕЛАЯ РЫБА

Белая рыба (у приенисейских татар — «ак балак») — это, во-первых,
хариус, а также вся белая рыба, заходящая из устья Енисея, — нельма,
омуль, муксун, из речной — чир, пелядь и другая. Её мякоть имеет
молочно-белый цвет. «Белая», как и «красная», — простонародное
название, говорящее о ценности рыбы. А бывает ещё и чёрная рыба:
это малоценные виды — окунь, плотва, ёрш, елец.

Когда-то большие реки и озёра здесь, в Приенисейском крае, как
и вообще в Сибири, были чрезвычайно богаты рыбой. В реках води-
лись разнообразные виды как белой, так и красной рыбы — осётр,
стерлядь, налим, форель. В озёрах — окунь, карась, щука. Русские
сибиряки и коренные народы не мыслили себя без рыбы, а её добы-
ча, как для собственных нужд, так и для продажи, была главным
занятием всех жителей Приенисейского края. Употребляли рыбу в
варёном, солёном, сыром виде (так называемая строганина) или
даже «с душком», когда свежей рыбе специальным образом давали
чуть-чуть протухнуть, но так, чтобы только плоть её легко отставала
от костей, это считалось особым деликатесом.

Наиболее «рыбными» были и остаются северные районы — Ени-
сейский, Туруханский. К сожалению, многое в фауне рек и морей
изменил своей деятельностью человек. Изменение водостока и темпе-
ратурного баланса в результате гидростроительства, промышленное
и бытовое загрязнение рек, браконьерство привели к исчезновению
многих популяций северных рыб — например, туруханской стерляди
или осетра, который сегодня остался только как вид.

А как было в прошлом? Холодные, чистые и быстрые сибирские
реки — Енисей, Ангара и другие — всегда были идеальной средой
обитания именно для ценных видов рыб — осетра, стерляди, си-
га. Можно сказать, что реки славились не столько количеством,
сколько качеством рыбы. Исследования, проведённые сто лет назад,

8. Максимов С. В. Сибирь и каторга. С.-Петербург, 1900. 496 с. [Электронный
ресурс] URL: <http://www.knigafond.ru> (дата обращения: 4.06.2014).

открывают интереснейшие факты. Так, осётр держался повсеместно в дельте Енисея — это разлив в устье реки и в самой реке, куда он заходил для нереста. На зиму эта рыба залегает в ямах на дне (холод как бы парализует её мышцы и мозг, погружая в подобие летаргического состояния), жиреет и весом может достигать трёх и более пудов. Молодых осетров небольшого веса, примерно до пяти кило, в Туруханском крае называли «костерь».

Стерлядь («кызыл балык»), вкуснейшая бескостная рыба, в больших количествах водилась в районе Туруханска и на Ангаре. В бытоописательных трудах прошлого встречаются данные, что рыбацкие артели на Ангаре вытаскивали за раз до нескольких сотен стерлядей, а реку звали «стерляжьей». В районе Дудинки встречались экземпляры весом до десяти килограммов. Обитает стерлядь больше в нижних слоях реки, в быстротечной и чистой воде, предпочтительнее с песчаным дном. Эта рыба также очень притязательна к вкусу воды и её температуре — она должна быть прохладной.

Туруханская ряпушка, в народе больше известная как туруханская сельдь, в начале июля начинала входить из залива в Енисей, поднимаясь далеко вверх, почти до Осинового порога (каменные гряды в сорока километрах выше впадения Подкаменной Тунгуски в Енисей), откладывая икру и обратно скатывалась в залив. Такая рыба, идущая обратно в залив, называлась «покатной». Ловля её производилась в ночное время, так как только ночью эта рыба выходит на более мелкие места.

Нельма встречалась повсеместно, как в Енисейском заливе, так и в реке. Начало её вхождения в реку — сразу после прохода льда, а подъём был далеко выше Туруханска. Сейчас он гораздо ниже. Средний вес этой рыбы — до десяти килограммов, но, по рассказам старожилов, встречались и пудовые, а молодняк здесь называли «синявками».

Сиг входил в Енисей в середине августа, позже всех, тогда ловили его неводами. Поднимаясь по Енисею, сиг доходил до устья Нижней Тунгуски, а в октябре, после нереста, скатывался обратно. Лов покатного сига около реки Хантайки, правого притока Енисея, производился в самом конце октября⁹.

Ловля рыбы для продажи производилась летом, начиная со вскрытия реки ото льда, и продолжалась до первой половины сентября; осенью и зимой лов начинался с середины сентября и продолжался до середины ноября. Ловили рыбу самыми разнообразными способами. Исходя из повадок того или иного вида, употреблялись невода разных размеров (для крупной рыбы), сети — поплавни, ржевки, пущальни; разная мелкая снасть помельче: самоловы, перемёты с десятками крючков, с приманкой и без, ловушки из прутьев — морды, запоры,

9. *Исаченко В. Л.* Материалы по исследованию р. Енисея в рыбопромысловом отношении. Выпуск IX. Красноярск, 1915. С. 47.

котцы — деревянные перегородки небольших рек зимой, а также острога. Стерлядей, например, ловили с помощью донных сетей, у них нижняя тетива идёт глубоко в воде.

Лов омуля начинали после его нереста, когда он в начале октября скатывался в Енисей, а около станка Плахино (сейчас Новое Плахино) Туруханского района проходил около 25 октября. Не только в Енисее, но и в озёрах Туруханского края в большом количестве водилась пелядь. Летом её добывали неводами на Енисее, а главный лов происходил зимой, когда её добывали пушальнями (ставные сети различной глубины).

Чир считался почему-то родом белой сёмги, хотя не имеет к ней никакого отношения. Это крупная рыба, весом может достигать более восьми килограммов. Летом его также ловили в Енисее, а больше всего — на песках (так называли ровные низменные места по берегам рек, в июне-июле выступающие из воды), зимой — в озёрах. В конце зимы, когда рыба ищет свежей воды и устремляется в мелкие речки, её, от малого до старого, ловили в прорубях сачками, ковшами и даже руками.

Озёра, озёра,
Озёра глубоки!
В этих озёрах
Белой рыбы много,
Свежей осетрины.
Неводом закину,
Белу рыбу выну,
Свежу осетрину.
Сяду я, присяду,
Стану рыбу чистить,
Стану вычищать.
И поеду торговать¹⁰.

*(с. Шилинское,
Красноярский уезд,
Енисейская губерния,
XIX в.)*

Конечно, в озёрах осётр не водится, пусть это не вводит в заблуждение читателя. В народных песнях важна не точность, а поэтичность и выразительность. А вот об изобилии рыбы в наших реках всегда ходило много разных баек. Рассказывали, будто бы стаи рыб в массе могли заполнить всё русло реки от дна до поверхности, или что рыба, выпрыгивая из реки, попадала в проходящие по реке суда... Как бы там ни было, но уже в конце девятнадцатого века (что же говорить о дне

10. Хороводные и игровые песни Сибири. Новосибирск, 1985. С. 28.

нынешнем?) исследователи и путешественники отмечали, что запасы рыбы в сибирских реках сильно истощились. Ни крестьяне, живущие по рекам, ни малые народы не заботились о будущем и применяли, в числе прочих, хищнические приёмы лова. Хотя рыболовный промысел в каких-то очень крупных, промышленных масштабах на Енисее в то время так и не развился; это произошло позднее, в тридцатых годах прошлого века, когда появилась государственная структура, рыбозаводы. Старожилы верхнего течения Енисея вообще говорили, что ловили в основном на собственные нужды, а если и продавали, то наживали с этого разве что «Богу на свечки»...

В низовьях, где в начале прошлого века обитало до трёх и более десятков видов рыбы, вся она, добываемая коренными сибирскими народами на продажу, сдавалась скупщикам, приказчикам да засольщикам. В большинстве случаев бедные «остячишки» и «самоедишки» находились у всех этих жадных и хитрых торговцев в постоянном долгу, нищали, вымирали и жаждали в конце концов только одного — «сердце править», то есть водки. Так было по Енисею: право сильного — закон Азии.

БОГОРОДСКАЯ ТРАВА

Так ещё со времён древней Руси называли чабрец (тимьян ползучий, *Thymus serpyllum*). С виду это невысокий многолетний кустарник с распластанными по земле стеблями и очень жёсткими листьями продолговатой формы. Богородская трава любит селиться в сухих местах, на камнях, вблизи невысоких гор, в сухих сосновых лесах, цветёт розово-лиловыми цветами с июня по август и имеет сильный горьковатый и приятный запах.

В прошлом эта трава была непременным атрибутом разных сторон жизни сибирских крестьян. Её отваром лечили головную боль, применяли как антисептическое средство, пили при простуде и даже считали своего рода оберегом — ею окуривали предметы и животных. Так, на Страстной неделе в Великий четверг перед Пасхой, до восхода солнца, богородской травой окуривали хозяйство: дом, подполье, горницу, стайки и пригоны, — чтобы Бог хранил его весь год. Также окуривали коров после отёла, чтобы не скисало молоко, охотничьи ружья и ножи, рыболовные сети для удачи на охоте или рыбной ловле.

Окуривание подождённой травой широко использовалось и у енисейских племён: например, остячка-родильница, которую на время родов отселяли в особую юрту, для возврата к мужу очищалась через эту «окурку». Любая вещь, хоть верёвочка, если через неё переступит женщина, окуривалась струёй пахучего вещества.

ВИЛАШКИ

Вилашки — примитивный светильник, был музейной редкостью уже в конце девятнадцатого века. Представлял собой трёх-четырёхзубчатую вилку, она втыкалась в бревенчатую стену, а в зубья вставлялась

нащепанная лучина, которую и поджигали. Чаще в ходу были светцы-чашки, в них наливали жир и вставляли фитиль из пеньки.

Ворожба

Ворожба — гадание, предсказание будущего, но также и негативные суждения. Говорить что-то нехорошее опасались, так как считали, что может сбыться.

В основе ворожбы, гаданий всегда лежало желание людей узнать будущее, приоткрыть завесу тайны: что ждёт человека в дальнейшем — удача или невзгоды житейские, счастье или печаль? Ворожба — по картам, по руке, по разным предметам, приметам, живой природе: например, загадывали на кукование кукушки, крик ворона, совы, также и на движение птиц, поведение животных и насекомых.

Но на первом месте была всё-таки новогодняя ворожба. По деревням Приенисейского края она начиналась в первые три-четыре дня Святков¹¹, продолжаясь на Новый год и Крещенский сочельник. Для молодёжи наступало время предугадывания судьбы. Одни гадания происходили на улице, другие — в домах.

Широко известна ворожба на валенки. Валенки кидали за ворота: в какую сторону носком упадёт, туда быть отданной замуж. Или такое: ночью, придя к огороду, нужно было стать спиной к частоколу и отмерить частоколыны ручной саженью. Потом сосчитать захваченные частоколыны: если получится чётное число, значит, девушка выйдет замуж в этом году, нечётное — не выйдет. Где снега много, девушка ложится на спину: если наутро окажется вторая фигура, то скоро выйдет она замуж, а если земля вскрыта, то умрёт. Падали спиной на снег, где сугроб больше: какой отпечаток получится, такой и муж будет. В другом случае — хорошо будет или же плохо. Фигуры получались когда ровные, что было хорошо, муж, значит, будет красивый, а когда и неровные, тогда, глядя на них, рисовали в воображении: муж-пьяница, хромой, уродливый и тому подобное. «Однажды Аня взяла палку и избивала такую уродливую фигуру, не хотела, чтобы такой муж достался», — смеясь, рассказывала мама.

Загадывали и так: в какой стороне лай собаки, туда быть отданной замуж. Подслушивали под окнами: если слышали хорошие речи — на пользу, плохие — не к добру. Грубый голос — старый муж будет, тонкий, звонкий — молодой.

Когда гадание происходило в доме, чаще девушки собирались у той подруги, у которой он был самый просторный или домашняя обстановка способствовала выполнению всех обрядов ворожбы. В доме ворожили на хлебе: хлеб клали на блюдо, сверху накрывали рушником и пели «подблюдные» песни:

11. Двенадцать праздничных дней (Святые праздничные дни) — в христианской традиции время с Рождества Христова до Крещения Господня.

Хлебу да соли долог век, слава!
Государю нашему доле того, слава!
Государь наш не стареется, слава!
Его добрые кони не ездятся, слава!¹²

Затем хлеб ломали на столько частей, сколько девушек принимало участие в гадании, и на ночь клали под подушку. Что приснится, то и будет.

Было также множество гаданий на золотое кольцо. Например, кольцо на привязанной к нему нитке опускали в воду, при этом произнося заговёр. В какую сторону кольцо отклонялось, то и ждать надо было: счастье или, наоборот, неудачу.

Отчасти даже жутковатое гадание: по рассказу Е. П. Ложкиной, девушка одна шла в дом, в котором никто не живёт. Там на божничку она должна была поставить свечку, на печь положить хомут, а в хомут — зеркало. Потом, глядя в зеркало, приговаривать: «Суженый-ряженный, приходи в зеркало глядеться». Много в зеркале людей покажется из семьи, куда быть отданной замуж, надо глядеть внимательно: если узнает мужа, нужно сказать: «Чур, аминь». Если не узнает, значит, в этом году замуж не выйдет. Слово «чур» было обязательным: произнёсший его как бы останавливал колдовство, а само слово означало «от чего-то удержаться», «чего-то не делать».

Широко известна была ворожба на воске. Растопленный горячий воск выливали в воду, в ней он застывал. Доставали полученную фигуру, наводили на неё свет и трактовали тень на стене. Также лили олово: расплавив предварительно кусок, сливали его в ковш с водой, ставя его на голову гадальщицы. Удача, если слиток получался похожим на венец, — тогда девушка выйдет замуж в этом году. Замужество обещал и яичный белок, вылитый в стакан с водой, в случае, если напоминал фигуру венца.

Узнать имя суженого или суженой пытались разными способами: сверлили лёд и мешали снег весёлкой в горшке, выговаривая при этом имена; спрашивали под окнами домов или у встречаемых: «Кто жених?», «Кто невеста?», — ответные имена будто бы и есть имена будущих супругов.

Она таяла снег
На печном столбу;
Она вытаяла
Позолот перстень,
Позолот перстень
О трёх ставочках;
Да кому этим перстнем
Обручатися?

12. Полевая-Авдеева Е. А. Записки и замечания о Сибири. М., 2013. С. 124 (репринтное воспроизведение издания 1837 г.).

Ещё отроку со отрочицею,
Добру молодцу со девицею.¹³

Облик суженого-суженой узнавали так: смотрелись в золотое колечко, опущенное на дно стакана с водой, пристально вглядываясь с одной только мыслью — увидеть лицо...

Ворожили на лён — в подполье (сухой погреб под жильём) спускались рвать лён да приговаривали: «Приходи, мой суженый-ряженный, рвать лён», — желая увидеть будущего мужа; или ложились в переднем углу «под образа», посыпали в изголовье лён, при этом загадывали, чтобы суженый «пришёл сеять его» — он и приснится.

Клали гребень в изголовье на ночь: суженый должен был расчесать волосы этим гребнем.

Характер суженого или суженой «узнавали» по предметам. Например, раскладывали кусок хлеба, соль и уголь, в блюде наливали водки. Всё покрывали сверху чем-нибудь. Участники гадания по очереди вскрывали накрытое и брали что попадётся. Это и служило ответом на вопрос, кем и каким будет будущий муж — хозяйственным, неопрятным или пьющим. Или такое: на стол клали различные предметы — соль, уголь, бумагу, кольцо, в более старое время — головной убор незамужней женщины. Потом, спиной стоя к столу и не глядя, девушка должна взять, что ей попадётся из вещей, ну а после делались толкования. Например, соль — муж будет пекарь, уголь — кузнец, кольцо — скоро выйти замуж, женский головной убор — выйти замуж за вдовца и так далее.

По поведению животных ворожили на характер и достаток будущих суженых: петуха и курицу пускали ходить по дому, но прежде на полу рассыпят крошки хлеба, зерна, нальют в блюде воды и поставят зеркальце. Птиц снимут с шестка, накроют ситом, повертят, чтобы они потеряли ориентацию в пространстве, и быстро выпустят. Поведение птиц трактовали: начнут охорашиваться — признак опрятности, пьют воду — склонность к пьянству, щиплют одна другую — буйный нрав, в зеркальце заглянут — любовь к щегольству, зёрен поклюют — значит, будут домовитыми, крошек — побираться станут.

На имущественное положение ещё так ворожили. Слушали под дверью амбара. Если почудится, что кто-то будто хлеб пересыпает, тогда суженый будет из состоятельной семьи. Лазили в овин, ждали овинника (суеверное существо): если погладит мохнатой рукой — жить в довольствии, голой — в бедности. Бывало, парни подслушают, как девушки собираются гадать, и специально подшучивают: проберутся потихоньку в темноте и рукавичкой погладят или испугают. Шуму потом, смеху!

13. Там же, с. 122.

Чем меньше и отдалённее была деревня, тем дольше сохранялись и ярче проявлялись в ней приёмы ворожбы. В деревнях, расположенных вблизи городов, эти суеверия были не такими цельными и доминирующими. Их жители видели другую жизнь, других людей, другие поступки, слышали другие суждения, впитывали новое, общаясь с городскими или проезжающими издалека людьми.

А так в прошлом веке в деревнях новогодняя ворожба была уже просто обыкновенной забавой, интерес к которой быстро угасал, все впечатления и предсказания стирались из памяти бесследно, а люди возвращались к своим каждодневным насущным делам и заботам — до следующего Рождества.

ВЫТЬ

Выть — это аппетит, позыв на еду, время от еды до еды, количество пищи на один раз. Слово пришло с крестьянами северных и центральных губерний, там «выть» означало обед, ужин, вообще всякую закуску и даже часть пищи, предназначенной для собак.

Елена Петровна Ложкина вспоминает, что «в Ижугле Даурского района так говорили: „Ой, что-то мне выть тянет“, — значит, покушать надо». А «больше вытным» называли того, кто имел хороший аппетит и много ел. Это свойство организма не выдерживать длительные промежутки времени между едой, тяга кушать часто. «Едят и едят всё время, имя спереди бурдюк надо привязывать, тогда только они справны», — говорила моя прабабушка Анна Кирилловна Кожуховская (Кадочникова).

А вот хорошо держать эту самую «выть» могли некоторые коренные народы Сибири. Самой природой заложено в них это свойство. Женщина-кочевница часто не имела возможности регулярно кормить ребёнка, и ему днями приходилось довольствоваться лишь кусочком сала, которое клали ребёнку в рот с самого рождения. Выжившие создавали поколения людей, невероятно устойчивых к длительному голоду.

Выдающийся русский учёный-востоковед В. В. Радлов писал об этом поразительном свойстве желудка некоторых кочевых сибирских народов: «...Может голодать днями, и никто не услышит от него жалобы на отсутствие еды, но когда она появится, он может есть без конца. Мой казак¹⁴ говорил мне, что не раз видел, как четыре наших проводника поехали в один присест большую жирную овцу. В 1860 году я узнал, что может переварить... (их) желудок. Однажды моя жена готовила котлеты, и у неё осталась большая деревянная миска горячего несоленого топленого масла фунтов на восемь, из которой она взяла лишь несколько ложек. Миска стояла на виду, и я заметил, как

14. Имеется в виду казак-киргиз (казах-киргиз) — тюркская народность степных кочевников Западной Азии.

один из проводников бросал на неё вожделенные взгляды. Я спросил его, не хочет ли он отведать масла, сказав при этом, что не могу дать ему хлеба, которого у нас очень мало. Мой казак, смеясь, сказал: „Да он один съест всю миску“. Я не мог поверить, но... (он) и впрямь с удовольствием принялся за еду, опустошил всю миску без соли и хлеба и выгреб пальцами остатки. Потом я ехал весь день рядом с ним и не заметил ни малейших следов недомогания» (В. В. Радлов, «Из Сибири. Страницы дневника») ¹⁵.

Также выть — это сила человека.

Гнилушка

Гнилушка — в Сибири остатки истлевшей берёзы, использовались при дублении шуб: в чугушке запаривали угли и добавляли куски гнилушек; затем этот чугунок ставили в кадочку, а над ней развешивали шубу мездрой внутрь, хорошо расправленную, с полами, заправленными в концы рукавов, и так оставляли окуривать на весь день.

У старожилов было и другое значение слова: гнилушка — человек со слабым здоровьем.

А ещё Гнилушка — это название реки, принадлежащей бассейну Восточно-Сибирского моря восточнее Колымы.

Гнус

Гнус — мошка, мелкие насекомые, питающиеся кровью людей и животных. Гнус приносит большие страдания всему живому во время летних работ в страду, а более всего в лесу. Старые люди говорили: «Ой, вы ещё настоящих комаров и гнуса не видали, как те, которые были здесь, в Сибири, ране, особенно в необжитых местах! Так нажварят — не возрадуешься!» Так как работать в поле и в лесу всё равно надо было, крестьянки шили из самотканого грубого холста накомарники — конструкцию, позволяющую как-то оградить от укусов плечи, шею и отчасти лицо.

Сказка «О комарах и мошках»:

«Комары и мошка, из-за обладания людьми и животными, завели между собой спор: каждому из них хотелось одному пользоваться наслаждением, без помощи других. Ни одна сторона не хотела уступить другой. Для разрешения спора они отправились к Богу. Явились. Ангел доложил о них Богу. Бог вышел к ним.

— Что вам нужно? — спросил Он их.

— Раздели нас, Боже, кому из нас и когда быть на Земле, чтобы мы не мешали один другому.

Бог, помолчав, сказал:

— Мне сейчас некогда, а вот после Покрова я вас разделю!

15. Радлов В. В. Из Сибири: Страницы дневника. М., 2014. С. 164.

— О! После Покрова нас не будет! — зажуужжали недовольные комары и мошки, улетели опять на Землю и ещё злей, ещё сильнее стали нападать на людей и животных»¹⁶.

(Сказка была записана в Новосёловской волости в XIX в.)

ГОВОРНАЯ ТРУБА

По своему обычаю поддевать людей за недостатки, так старожилы называли тех, кто обладал громким голосом: «И чё ты дудишь, как труба говорная?» Дело в том, что эта труба увеличивала звук в двенадцать с половиной раз и была слышна более чем за полторы версты.

Другое расхожее выражение по этому же поводу: глотка как у городского. «Манька, реви тише, у тебя глотка как у городского!» К слову, «реветь» в Сибири — это не только кричать или плакать, но и звать, и даже просто громко говорить.

Неизвестно, откуда и когда пришло это выражение; вероятно, принесли переселенцы в девятнадцатом веке, так как само понятие появилось в царской России только в 1862 году, когда были упразднены «будочники» — рядовые постовые полицейские в городах, а на смену им пришли городовые.

Но почему голос этих низших чинов городской полиции в Российской империи вошёл в такое сравнение? Дело в том, что в том далёком прошлом на проезжих улицах городов зачастую творилась полная неразбериха. Большое скопление народа в каком-либо месте, извозчики, всякие «лихачи», «голубчики» и «ваньки», толпившиеся со своими пролётками в ожидании и наперебой зазывавшие клиентов или, проносясь лихо по мостовой, кричавшие на все голоса: «Эй! Постор-ронись! Зашибу!» — или: «Э-ге-гей, голубчики, гр-раб-бят!» (клич ещё со времён разбойников с большой дороги) — требовали хоть какого-то управления и порядка, а указания ещё нужно было до них донести, попросту перекричав их.

Это свойство голоса, как, впрочем, хамство и пьянство, было одним из известных качеств городских.

«Орут на все голоса извозчики, толкаясь и перебивая друг друга, загораживая дорогу публике.

— Куды? Куды? — висит в воздухе.

Городовой ходит с видом, по крайней мере, командующего армией и покрикивает. Вдруг в этот момент открываются ворота особняка... — Куды? Назад! — покрывает шум громовой возглас городского. — А ты чего глядишь, морда? Вишь, публика не прошла!» (В. А. Гиляровский)¹⁷.

16. Русские и инородческие сказки Енисейской и Томской губерний / под ред. Г. Н. Потанина [Электронный ресурс] // Записки Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. По этнографии. Т. I. Выпуск III. URL: <http://www.knigafond.ru>.

17. Гиляровский В. А. Сочинения в четырёх томах. Т. 4. М., 1989. С. 107.

Александр Ёлтышев, Александр Волокитин

С небес — к мольберту

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

... Альманах «Енисей» заметен своим стремлением охватить широкий спектр художественной жизни Красноярья. Меня привлекают не только публикации интересных авторов (проза, поэзия), но и художественно-иллюстративные материалы, которые ориентируют (просвещают) читателей в сфере искусства живописи, знакомят с современными художниками Красноярска.

Помнится, обложку одного из выпусков альманаха представляла картина «Шаманка» красноярского художника *Александра Волокитина*.

Александр Иванович — замечательный, многогранный художник. Его живопись отмечена разнообразием творческих пристрастий. Он великолепный мастер портрета и монументальных панорамных пейзажей. Не менее интересны и значительны его декоративные, тонкие по колориту натюрморты, а также серьёзные композиции на религиозную тематику.

Художник обладает ярко выраженной индивидуальностью, однако он никогда не терял связи с русской живописной традицией. В этом его сила. Учителя Александра — выдающиеся мастера живописи: профессор, член-корреспондент РАХ А. М. Знак, профессор, академик А. П. Левитин.

В его активе семь персональных выставок — городских, краевых, региональных, всероссийских, зарубежных; работы художника находятся в музеях и частных коллекциях России и Европы. 2016 год для Александра — юбилейный, он отмечает своё шестидесятилетие.

Евгений Лаук,
заслуженный артист РФ,
профессор Красноярского
государственного
института искусств

Это письмо в редакцию «Енисея» напомнило мне встречу с замечательным художником и человеком в его мастерской. Наша тёплая непринуждённая беседа вылилась в интервью. Прошли годы, но мысли, высказанные мастером кисти, не утратили актуальности.

Лётчик Александр Волокитин, глядя на землю из кабины самолёта, осмысливал красоту мира и тайны мироздания. Когда масштаб обзора показался недостаточным, сменил профессию. Не в космонавты переквалифицировался — стал художником.

— *Александр Иванович, вы спустились с небес на землю или, наоборот, взмыли ввысь?*

— Об этом надо спрашивать ценителей искусства, моё мнение — не объективно. Живописцем я мечтал стать с детства, окончил суриковскую школу. Но отец, замполит авиаотряда, был краток: «Сначала освоишь серьёзную мужскую профессию, картинку будешь на пенсии рисовать».

— *Переубедить отца пытались?*

— И я, и директор художественной школы. А дед мой, Василий, с рысьими глазами, говорил: «Сашке не надо в авиацию — сердце у него чувствительное». Однако логика отца победила: я окончил Бугурусланское лётное училище, три года проработал вторым пилотом на Ан-2. От командира получал взыскания за то, что рисовал во время полётов.

— *Не жалеете об утраченном времени, которое могли бы посвятить совершенствованию призвания?*

— Нисколько. Такой прекрасной открылась мне земля в облаках! Но даже не это главное. Любая картина — отражение жизни, которую художник должен знать досконально. Живопись требует умения в самых неожиданных сферах деятельности — недаром гении Леонардо и Микеланджело были великими универсалами.

— *Не это ли заставило вас прийти к живописи через театр?*

— Поначалу я не сознавал, что сцена так повлияет на меня как станковиста. Работая в авиации, занимался в народном театре и в художественное училище поступил на театральное отделение, где великолепный художник Александр Баженов учил нас будить воображение и воплощать в декорации образы, зашифрованные в пьесах. «Жестокие игры» Арбузова вызывали во мне ассоциацию разбитого стекла: молодёжь дошутилась до крушения судеб; «Женитьба Бальзамина» похожа на дорожную пыль; «Ревизор» — на плюшевый диван, с красными лампасами, синими камзолами с золотыми пуговицами, всё надутое: ткнёшь иголкой — лопнет.

— *Интересно, а «Чайка» Чехова?*

— Ветер и облетающий яблоневый цвет.

— *«Утиная охота» Вампилова?*

— Гениальная декорация в фильме «Отпуск в сентябре» с Олегом Далем. Пустая комната, вид из окна — безликие серые новостройки-коробки. Добавьте к этому выжженные глаза героя, и становится ясно: осталось застрелиться.

— *Надо ли трагическое, которого в жизни достаточно, выносить в искусство?*

— Христос учил нас своим примером, что через страдания душа очищается, выздоравливает.

— *Нынче популярно другое учение: Христос за нас отстрадал, мы должны жить и наслаждаться.*

— Для художника — опаснейшая позиция. Страдание — оселок, высекающий в душе искру, без которой искусство невозможно. В девяностые я расписывал стены — вольготно, без особого напряжения, деньги шли хорошие. Но Господь взял меня за шкуру и встряхнул хорошенько — увидел я на выставке мощные работы сокурсников по институту и ужаснулся: чем занимаюсь?!

— *Но ведь ваши росписи многим нравились, и популярный тезис о том, что искусство принадлежит народу, вы подтверждали.*

— Художник созидает для Бога, во вторую очередь — для себя, публика — на третьем месте. И в таком подходе — истинное уважение к людям, только так можно создать настоящее, избежать халтуры.

— *А если шедевры художника не востребованы, а дома семья, жена ставит в пример удачливого халтурщика: промахнулась, дескать, не за того вышла?*

— Вечная проблема, приходится выбирать приоритеты.

— *Вы часто упоминаете Бога, у вас немало картин на евангельские сюжеты. Как человек, сформировавшийся в атеизме советской действительности, пришёл к религии, и что она для вас?*

— Подспудно верил всегда. В тридцать пять лет впервые перекрестился, произнёс молитву, и что-то со мной произошло, начал меняться взгляд на мир, стал писать другие картины. Считаю, только через веру лежит путь возрождения и развития России. Достоевский, утверждая, что красота спасёт мир, наверняка имел в виду духовную красоту, формируемую христианством. Сегодня в стране приступили к борьбе с коррупцией (интервью дано в 2008 году. — *Ред.*) — хорошее дело, но это ведь косметика. Прежде надо создать крепкую основу в душе народа.

— *А какова основа русской живописи?*

— Русский дух. А всё остальное — форма, цвет, колорит — добавление к нему.

— *И в чём особенность нашего духа?*

— У русских больше сострадания, милосердия, боли за всё живое.

— *Это в жанровых картинах. А какая может быть боль в натюр-морте?*

— В не меньшей степени, если внимательно приглядеться. Вот мои любимые «Сухие подсолнухи»: они жили, цвели, наливались соком, а потом... мучительная смерть. Или «Натюрморт с рыбой»: лежит она беззаботно на столе, но нож на неё уже наострён. В институте нас учили видеть мир, человеческие переживания в любой мелочи.

— *И вновь мы возвращаемся к теме страдания. Где же его очистительное начало?*

— Я потерял трёх близких людей, среди которых старший брат Владимир. Он тоже был пилотом, более десяти лет летал на Як-40, потом стал резчиком по дереву. Сделал сотни мифологических птиц, разнообразных изделий, которые разошлись по всему свету. После его смерти я ощутил страшную покинутость, но постепенно стал высветляться. Понял, что надо успевать общаться с близкими, делиться переживаниями, любить людей, прощать им, помня, что каждый из них, как и ты сам, может уйти навсегда в любой момент.

— *А на творчестве как отразилась трагедия?*

— Удивительно, но появились и светлые работы. Помните, Суриков, тяжело пережив смерть жены, написал одну из самых радостных картин — «Взятие снежного городка»? Углубляться в уныние — грех, надо стараться по-новому взглянуть на мир, он не настолько тёмный; страдания, если на них правильно реагировать, смывают грязь с души.

— *Ваш сын не продолжает дела родителей?*

— Способности к искусству у него имеются — играл на флейте (мама — музыкант), рисовал, но пошёл по строительному делу, заявив: «Папа, ты видишь, что творится?» А по-моему, всё то же: изменились одежда, машины, а суть человеческая осталась прежней — любит, страдает, мечтает о счастье. Кстати, конкурс в художественное училище и институт существенно вырос, что радует.

— *И что можно ожидать от выпускников этих учебных заведений?*

— В Красноярске отличная школа, центр российского изобразительного искусства постепенно перемещается из Москвы на берега Енисея. А в какой манере будут творить новые художники — реализм, авангард, импрессионизм — дело десятое; главное, чтобы сердце трогало.

Михаил Тарковский

О писательском ремесле

Продолжение. Начало см.: «Енисей», № 1/2016.

Начиная новую страницу нашего повествования о писательском мастерстве, оглянемся на сказанное в предыдущей главе, где основным, пожалуй, является представление о многослойности литературного произведения. Именно неучтение этой особенности приводит к самым низким творческим результатам. Под многослойностью мы понимаем одновременное сосуществование в произведении нескольких составляющих: языковой, психологической и, конечно же, мировоззренческой, которая подразумевает такие важные понятия, как народность, религиозность, историчность.

Трудность литературного ремесла заключается в том, что достижение этой многоипостасности требует огромных и, на первый взгляд, непреодолимых усилий. Для наглядности рассмотрим такую аналогию. Чтобы снять даже плохой фильм (что нынче обратилось в норму, так как кинематограф стал средством заработка, а не способом художественного осмысления действительности), требуется согласованное сотворчество целой группы специалистов разных профессий: операторы, художники, звукорежиссёр, композитор, в большинстве случаев сценарист, монтажёр и другие, не говоря о режиссёре.

Все знают, что кино вышло из литературы и что оно является, грубо говоря, её визуальным продолжением, конечно же, усиленным музыкой и магией актёрской игры, но базирующимся на тех же законах сюжета и драматургии, что и книга. Аналогия с кино наглядно открывает нам, насколько сложно литературное произведение и каким многообразием специальностей обязан владеть писатель. Действительно, автор совмещает массу должностей: он и режиссёр, и сценарист, и художник по всем направлениям, и, конечно, психолог, и знаток диалектов, и звукорежиссёр... Представляете, какую это накладывает ответственность перед зри... прошу прощения, перед читателем?

Предлагаю продолжить тему диалогов, затронутую нами в прошлой беседе. Одно из правил диалогов звучит так: каждый персонаж должен иметь свою собственную лексику. В книге это подчас выражено с большей силой, чем в жизни: подходим к самому интересному и загадочному вопросу — взаимоотношениям между правдой жизни и правдой искусства. Вещи вроде бы параллельные, и вроде бы одно повторяет силуэт, контур другого, но на самом деле связь их не прямая,

а гораздо более непредсказуемая, ломаная и сложная. Порой ярчайшие жизненные моменты, будучи вставлены в повесть, мгновенно превращаются в вычурность и пошлость, а внедрение в жизненный разговор литературности оборачивается нарочитостью и позой. Об этом мы будем говорить ещё не раз, но пока вернёмся к диалогам.

Очень украшает прозу не просто яркая, колоритная речь персонажей, а ещё и речь, по которой герой узнаётся, скажем так, с закрытыми глазами. Как вы узнаете по голосам, кто разговаривает в соседней комнате. Эта речь не обязательно народная — она может быть и казённой, и бюрократической, и даже нарочито-технологической. А может — просто жизненно-бытовой, что, кстати, труднее всего, так как автор уже не сможет спрятаться за колоритом той или иной лексики и должен без дураков показать психологическую глубину переживания героев. Речь должна быть типичной, точной, представлять собой гармоническое целое и одновременно — раскрывать характеры героев. Раскрыть характер — это так построить речь персонажа, чтобы из неё стало понятным, чем тот живёт, на что опирается в жизни, да и вообще — что это за человек.

Конечно, на вид самое простое — это народная речь. Повсеместно встречается в литературе речь деревенских бабушек и дедушек. Подобных диалогов написано так много, что последующим всё труднее не повториться, сказать ярко и свежо.

Некоторые думают, что для передачи сибирского колорита достаточно употреблять через слово «однако» и «зимовьё», а для поддержания народности снабдить персонаж каким-нибудь словечком, которое он будет без конца произносить, хотя выражает оно не характер персонажа, а поверхностные представления автора о народной речи.

Распространён парадокс: начинающий писатель, который всю жизнь прекрасно и естественно по-народному говорит, едва садится за бумагу, начисто забывает знакомый с детства лад и начинает выражаться заскорузло и книжно, будто стесняется простых и живых слов. Это происходит именно из-за того, что простые слова кажутся ему слишком грубыми, будничными. Надо пройти трудовой писательский путь, чтобы увидеть в них литературную красоту.

Писателю же, оторванному от народной жизни, выход один — обратиться в огромное любящее ухо и внимать. Внимать уходящим старикам, чаще бывать в деревне, открыть в себе ещё одну ипостась — краеведческую, собирательскую, и в конце концов, если не хватает собственного материала, — прибегнуть к отчётам диалектологических экспедиций — их в региональных пединститутах на много лет с запасом. Но сработает это лишь в подмогу, когда уже настолько пропустил через себя деревенскую речь, что понял законы её жизни на бумаге. Тогда настанет следующий этап — научиться свободно ею мыслить и её творить. Но главным остаётся невынужденность её использования, любовь к этому языку: вы должны получать наслаждение

от его красоты. И всегда помнить, что русская народная речь — вещь в высшей степени творческая, индивидуальная и дающая огромный простор личности. Мы не раз говорили о том, что у каждого енисейского старика всегда был абсолютно собственный именной языковой строй.

И всегда должно быть ваше маленькое открытие, оборот, словечко, подмеченное только вами; это нелегко, но стремиться к этому необходимо. Оно же касается и частушек, и баек, и различных историй. И помним: работает приём в одном случае — когда автор делает небольшой, но шагок вперёд.

Замечательное дело для писателя — поездка в поезде. Обязательно берите с собой записную книжку. Маршрут Красноярск — Абакан может подарить вам материал для рассказа или очерка, а поездка на поезде из Красноярска во Владивосток одарит впечатлениями на добрую повесть. Помню такой поезд: ехала семейная пара — трудяги, и жена пошла в уборную как раз в тот момент, когда поезд въехал в туннель. Муж шутливо ухватил её за руку: «Куда на ночь глядя?!» Сам такое «ни в жись» не придумаешь. Тем не менее некоторую способность к подобному словесному творчеству развить можно. Обратите внимание на наследие Николая Семёновича Лескова, знавшего эту науку в совершенстве.

Хорошо, когда жизнь одаривает знакомыми, имеющими нюх на различные побаски, байки и присказки: такие товарищи — клад для писателя. И обратите внимание на главное — на любовь человека собирать, запоминать, доделывать и досочинять истории.

При собирании баек необходимо подходить к ним творчески, не тупо вставляя в диалог, прилаживать, как майор Ковалёв сбежавший нос, а дорабатывать, объединять, допридумывать в интересах действия и общей идеи произведения.

Очень важно знать устройство и историю слов. Некоторые формы (например, связанные с суффиксами) отмирают и остаются только в небольшой части языка. Надо это помнить и не забывать о старинном строе языка. О корнях и связях слов. И произносить слова следует не механически, а вдумываясь в их происхождение. «Тыльная сторона» — почему тыльная? Потому что тыл. Вот о тыле и надо помнить.

Иногда хорошо употребить слово, расширив его значение. Мне очень запомнилось, как Валентин Яковлевич Курбатов вдруг употребил слово «ненаглядный» в отношении чего-то огромного, навреде батюшки-Енисея, и оно заиграло-заработало неожиданно мощно и раскрывая свой смысл: невозможность наглядеться. Мы-то его употребляем в узко-любовном, песенном смысле: «моя ненаглядная», — как примелькавшийся ярлык, и забываем первоприроду слова.

Особенностей у народной речи бесчисленное количество. Приведем некоторые примеры работы с ней, которые могут пригодиться. — Произношение современных слов на старинный лад: например, не «спагетти», а «спагетья», «билетья». Зная этот, скажем так, метод

словообразования, вы можете сами по своему усмотрению продолжать его на других словах: допустим, дед из вашего рассказа говорит о том, что в магазине прорва разных «домкратьев». Подобными примерами изобилует русская литература — вспомните прозу Лескова или сказки Шергина.

— Смена мужского рода на женский или наоборот. Например, пришёл пароходишко «Бристоль». Ваша героиня может сказать: «Опеть „Бристоль“ эта приташшылась». (В основном такой смене пола поддаются слова мужского рода с мягким знаком на конце.)

— Вам поможет знание особенностей сибирского произношения; например, когда слова вроде «третье» произносятся как «третте», «ночью» — как «ночю». Или «корм» произносится как «кором», и вы можете по аналогии произвести свой собственный вариант: «торот» вместо «торта». Или чередование «и» и «е». Не «Витя», а «Ветя», не «говорила», а «говорела».

— Очень важный момент. Мы «говорели» о варианте использовании суффикса «ья», в современной речи применяемом не во всех словах. Как с «билетьями». В «деревьях» это привычно, а в «патроньях» — уже нет. Возвращая суффиксу право на широкую жизнь, вы восстанавливаете справедливость, напоминаете о красоте русского языка. Тому тьма примеров. Например, «лещеватая» собака — вполне современное выражение, а «дыроватое» ведро или «весноватая» (в смысле, веснушчатая) женщина — уже ушедшие в прошлое.

— Совмещение на контрасте слов из разных эпох или областей жизни, дающих комичное звучание. Например, «тропическа чушка» (про заморского кабанчика пекари) или научно-техническое слово, сталкиваемое с очень старинным. Или сочетание слов, когда одно из них произнесено на старинный или диалектный лад: «Ванча. Ты пошто домой не идёшь, *арифметику не решаешь?*»

— Неожиданное использование слова. Мы не раз приводили пример нашего односельчанина Анатолия Семёновича Хохлова, сказавшего «вертлявая» про витую берёзу. Это было естественно для его языкового строя, потому что *именно* так никто не говорил. Это ещё раз подтверждает творческий характер народного ума, любовь к языку и глубоко индивидуальный характер речи каждого отдельного человека.

— Смешная замена букв. Лесков, «Левша»: «керамида», «мерблужье». Из наших дней: «менбрама». Ещё весьма продуктивно передёргивать иностранные названия: «ямаха-мультипропоз», а наш герой говорит: «мультипропёс».

Если, погрузившись с головой в народную языковую стихию, ещё можно наладить и в себе мастерскую такого слова, то научиться сочинять байки почти невозможно, и здесь надо общаться с людьми и настраивать слух.

Мы только «скользом» коснулись одной из формообразующих составляющих диалогов, а именно — элементов народной речи.

В диалогах могут участвовать персонажи из разных социальных слоёв и говорить, повторимся, и на бюрократическом языке, и на техническом, и на профессиональном — и везде необходимо оставаться на высоте и выказывать глубокое знание той или иной лексики, заботливо следя, чтобы читатель наслаждался точностью и новизной слова. Пусть то, что он лишь неосознанно, боковым зрением, уловил в быстротекущей жизни, — здесь было узнано им с благодарностью и во всей полноте.

Но, конечно, самое главное в диалоге — это его психологическое напряжение, ощущение пружины, нарастание температуры, которое порой разрешается одной-единственной ключевой фразой.

Часто история, поведанная героем, на девяносто процентов состоит из рассказа, с виду не имеющего отношения к действию и вроде бы поставленного для красного словца, тогда как решающее для сюжета значение имеют лишь несколько фраз в конце диалога. Тем не менее рассказ этот характеризует героя как, допустим, пустого краснбая или, наоборот, вдохновенного рассказчика, очарованного жизнью и внимательного к окружающему миру. В бунинском рассказе «Захар Воробьёв» почти пять страниц идёт монолог Захара, прерываемый лишь в некоторых местах словами урядника, кучера и Алёшки, которые сопровождаются небольшим, но важным событием, показывающим недалёкий характер этих людей, — когда урядник тайком от Захара переводит часы назад.

Захар долго и подробно рассказывает об одном судебном разбирательстве, но главная идея отрывка — показать, что ему важнее общение, чем спор о том, выпьет или не выпьет он злополучную бутылку. Он попросил ещё полчаса — но в секунду допил остатки, возмущившись примитивностью урядника и кучера, подумавших, что Захар просит себе послабление, в то время как он просто хотел дорассказать то, что, с его точки зрения, было важным.

Рассказ Воробьёва вроде бы напрямую не связан с сюжетом, но раскрывает характер героя и мир, в котором он живёт. Захара интересует красота рассказа сама по себе, он ею наслаждается и не понимает, почему слушатели не разделяют восхищения.

Таким образом, все составляющие диалога должны быть интересны *сами по себе* — тогда читатель незаметно и ненавязчиво будет вовлечён в действие и точки, по которым прокладывает дорогу сюжет, будут выглядеть как само собой разумеющееся дополнение к художественному полотну. Допустим, вы рассказываете, как мужик купил машину с «палёными» документами и не знает, как быть, так как машиной пользоваться нельзя. По сюжету надо подвести его к продаже машины по дешёвке на запчасти. Но он надеется на лучшее и обращается за советами к знакомым. Те отсылают его к ушлым в автомобильных делах Ваське, Кольке, Петьке. Герою не терпится услышать чёткий ответ: что делать? Вместо этого те начинают подробно рассказывать

истории, в которые они сами попадали и где главный упор делают не на рекомендации, как выйти из положения с наименьшими потерями, а на эффектные или забавные эпизоды. Каждый из этих эпизодов вполне может существовать как самостоятельная застольная история, как полноценная байка со своей моралью, выражающей что-то важное о нашем народе. Сюжетным результатом хождения за советами становится решение продать машину за копейки, так как если и существует выход, то он крайне муторный и рискованный. Если мы просто скажем: мол, не получается по таким-то и таким-то причинам, — или вложим перечисление этих причин в уста какого-то второстепенного персонажа, то получится сухо, сценарно. Тем более надо ещё и доказать, по каким причинам у героя ничего не выходит, чтобы обосновать дальнейшие его действия.

То, что вместо кратких советов он выслушивает байки, добавляет повествованию остроты, образуя конфликт между выстрадавшим желанием героя получить помощь и пространными ответами собеседников. Кроме того, байки открывают нам характеры людей, проживающих на пространствах русского мира, особенно если в рассказах даются примеры находчивости, неприхотливости, неунываемости русского человека. Особенно хорошо, если они глубоки и имеют притчевую мораль, где проявляется многовековая народная мудрость, пред которой самый классик — всегда ученик. Мораль этих притч может перекликаться с общими идеями произведения, а может и нет. Иногда слишком понятное гладкое перекликание может раздражить читателя: уж больно ладно всё сплёл, смотри-ка!

Поделюсь случаем использования байки. Один краснопевный односельчанин рассказал байку о том, как золотой прииск открыли «согласно глухарю». История эта известная и рассказывается во многих местах Сибири. Суть её в том, что дед добыл осенью на утреннике глухаря, а в его желудке оказалось рассыпное золотишко. Глухарь, кто не знает, в своём желудке держит мелкие камешки, которые перетирают кедровую (сосновую и даже лиственничную, пока она не упала) хвою — та служит ему единственной пищей всю долгую зиму. Осенью ясными, холодными и тихими утрами птица пополняет запасы гальки, вылетая на бережок, являя собой замечательно красивую картину. Дед добывает этого самого глухаря, бабка потрошит желудок и находит золотой песочек.

История эта хорошо работала на общее дело книги, которую мне посчастливилось тогда писать. Тем более золото — вдобавок и метафора, выражающая нечто дорогое, ценное. В книге таким неожиданным для героя золотом явилась возлюбленная. К концу рассказа деда хорошо прикрепились фразы том, что с тех пор бабка все пупки выпрастывает, ищет золото... и дед вздыхает: «Озолотились...» Таким образом, колоритная, но достаточно отвлечённая история переводится на горькую тему тщетности надежды наших пенсионеров на сносную

жизнь. Диалог происходил в поезде, где ехал герой, и состоял из монолога деда и коротких вопросов и комментариев попутчиков.

Взявшись за тему диалогов, мы коснулись только одной их разновидности — той, где основную часть занимает рассказ одного из действующих лиц, изредка прерываемый репликами других персонажей.

Гораздо сложнее устроены диалоги, где собеседники в равной степени участвуют в разговоре. Как правило, они являются носителями противоположных мировоззрений, и их дискуссия помогает развитию конфликта между героями. Если, конечно, здесь уместно слово «помогает». Когда содержание произведения мировоззренческое или социально-направленное — в диалогах высказываются позиции героев, и такой диалог требует от автора недюжинной глубины мысли и умелой аргументации. При этом сказанное не должно отдавать публицистикой, поскольку читателю станет скучно, и он закроет книгу со словами: «Писал бы уж статью тогда».

Читая такие сцены, бывает, следишь лишь за состоянием героев, за развитием их отношений, не особо и вникая в их философские размышления или рассуждения о политике, идущие будто вторым планом. И потом даже обидно за автора: старался, аргументировал так кропотливо... Хотя такая ненавязчивость говорит лишь о психологическом и драматургическом мастерстве писателя.

Главным всегда является психологическое напряжение между героями, то есть человеческая, а отнюдь не идейная сторона, поэтому очень важно заставить читателя сопереживать героям. Для этого тонко описывается состояние собеседников, каким голосом они говорят, как жестикулируют, дышат, как именно произносят слова, по слогам ли, сбиваясь...

Помните, как Каренин, волнуясь, в разговоре с Анной оговорился и сказал вместо «перестрадал» — «пелестрадал»? И Анну тронуло это жалкое «пелестрадал», сказанное серьёзным и уверенным в себе человеком.

«— Алексей Александрович! Я не говорю, что это невеликодушно, но это непорядочно — бить лежачего.

— Да, вы только себя помните, но страдания человека, который был вашим мужем, вам не интересны. Вам всё равно, что вся жизнь его рушилась, что он пеле... пеле... пелестрадал.

Алексей Александрович говорил так скоро, что он запутался и никак не мог выговорить этого слова. Он выговорил его под конец *пелестрадал*. Ей стало смешно и тотчас стыдно за то, что ей могло быть что-нибудь смешно в такую минуту. И в первый раз она на мгновение почувствовала за него, перенеслась в него, и ей жалко стало его. Но что ж она могла сказать или сделать? Она опустила голову и молчала. Он тоже помолчал несколько времени и заговорил потом уже менее пискливым, холодным голосом, подчёркивая произвольно избранные, не имеющие никакой особенной важности слова».

Достоевский, непревзойдённый мастер, наделял героев различными невротами, расширяющими психологические возможности и оправдывающими необходимую художнику оригинальность и даже фантастичность взглядов героев.

Часто в диалоге, слово за слово, зарождается и развивается противоречие, приводящее к ссоре героя и героини. Разрабатывая драматургию конфликта, необходимо следить за тем, чтобы герои говорили точными жизненными словами, характеризующими время, чтобы ощущение живости этих людей держало читателя и заставляло полностью доверять автору.

Конечно высший пилотаж — диалоги о, скажем так, общих, главных вещах, ради которых, собственно, литература и затевается. Это такие категории, как жизнь, смерть, любовь, родная земля. В непревзойдённом произведении Валентина Григорьевича Распутина примером такого диалога может служить разговор старух Анны и Миронихи, выписанный с необыкновенной глубиной и сдержанностью. Разговору предшествует потрясающий отрывок о том, как старуха Анна слушала радио и какие чувства при этом испытывала. Отрывок этот сразу настраивает читателя на очень высокую ноту.

Приходит Мирониха и тоже вроде бы долго рассказывает про то, как потеряла корову, как беспокоится, потому что у Голубева тёлку медведь задрал, и что Генка-десятник нашёл её и «Генкина баба штаны, в каких он в лесу был, вчера весь день в реке полоскала и сёдни полощет, а низовски бабы по воду теперича под наш берег ходют». Причём Анна понимает, что Мирониха это из балагурства присочинила, чтобы её рассмешить. А читатель верит, потому что именно *так* комичное в нашей жизни сосуществует с трагичным и в том как раз и проявляется неунывающий нрав русского человека. Послушаем, как дана речь старух:

«— Я уж и Варвару утресь снарядила, чтоб она поглядела, где ты. А тебя, ветродуиху, всё где-то носит».

История выливается в мысль о том, на кой, мол, Миронихе нужна корова:

«— Ох, девка ты девка. Далась тебе эта корова. Ну. Я бы пошто её держать стала, мучиться, последние силёнки на её изводить. Каку-таку пользу, окромя хлопот, ты от её видишь? Накосить — нанять надо, привезти — нанять надо, сена зимой не хватит — купить надо. А так рази маленько с ей беготни? От и носишься, от и носишься с темна до темна. У тебя чё — семеро по лавкам сидят, исть-пить просят? Господи, да захотела ты этого молока, приди ты к нашей Наде, она тебе кажин день банку нальёт, а боле ты и не выпьешь. А охламину эту свою продала и полёживай, как барыня, тебе же ишо и деньги

за её дадут. Доведись до меня, я бы дак даром её ондала, только бы не мучиться с ей.

— О-о-о,— с издёвкой пропела Мирониха.— Поглядите вы на её. Корову бы она продала и деньги бы она не взяла. Забавная ты всё ж таки, старуня. Как я своей коровой попушусь, когда я её всю жисть держала? Для меня это живая смерть. Мне от её и молока не надо, только бы корова в стайке мычала. Кака-така нехоть на меня навалилась, что я себе корову не продержу?

— Да пропади ты с ей вместе, мне не жалко.

Разговор об этом у них заходит не в первый раз, и старуха про себя согласна с Миронихой: кто привык с коровой мучиться, тот уж без такого мученья не может. Да и что это за баба без коровы? Старуха и сама до последнего возилась со скотом, уж и двигаться как следует не могла, а всё хваталась за подойник, пока ей не запретили, и спорит она с Миронихой больше от обиды, почти ревности: вот Мирониха в состоянии ходить за коровой, а она нет».

Этот крестьянский вековечный дух схвачен в нескольких точных и афористичных словах: «Мне от её и молока не надо, только бы корова в стайке мычала».

Дальше начинается, вернее, бесконечно продолжается духовный взлёт старухи Анны. Происходит это, когда заходит речь о детях, которые приехали её хоронить:

«— Я их задерживать не буду. Им тоже домой охота, я у их не одна. Я рази не понимаю? А я на Таньчору погляжу, как приедет Таньчора, и начну сподобляться. У меня смерть лёгкая будет, я чую. Попрощаюсь с ними, глаза сама закрою и помру. Подойдёт к мне Варвара поглядеть, а из меня уж последний дух вылетел, я уж лёгкая. Она им скажет. Мне бы только Таньчору увидеть. Где-то долго её нету, не доспелось ли с ей чё. Говорели, вчерась приедет — нету. Вчерась говорели, сёдни будет — и тоже нету. Я себе на своей кровати места не нахожу, не знаю, чё и думать.

— Ты, старуня, зря не убивайся. Покамест время терпит, приедет твоя Таньчора. А чё зря убиваться? Тамака у ей, может, самолёты не летают. Теперича все на самолётах. У нас-то летают, я слышу, а у ей, где она живёт, может, небо плохое, а то самолётов на её не хватило. Это нам с тобой друг к дружке через дорогу перебежать, никого ждать не надо, а оттель, сама знаешь, дорога не ближняя.

— Им меня ждать не придётся,— повторила старуха, качая головой.— Нет, нет, не придётся. Мне боле уж нельзя задерживаться. Нехорошо. Я и так вдругорядь живу. Ребяты приехали, бог узнал и от чьей-то доли мне ишо маненько дал, чтоб я на их поглядела да от с тобой напоследок поговорела. Тепери назад надо. Ишо как-нить день перемогу, и всё, и надо снаряжаться. Пора. Пускай ребяты меня

проводят, поплачут по матери, чтоб уж им не попусту приезжать. Какая-никакая, а мать — жалко. Я свою мамку, помню, хоронила, дак изревелась вся, а тоже уж не молоденькая была, в годах. А как иначе? Никто из нас не вековечный, все изживаются. А ты, Мирониха, уж так и быть, помоги им сподобить меня, помоги. Хошь ты и говоришь, что я вредительша, а какая я вредительша? Сроду ей не была.

— Тебе уж и сказать нельзя.

— Да говори, — потеплела старуха. — Мне не жалко. Ты думаешь, я осердилась, ли чё ли, на тебя? Мы с тобой не такое друг дружке говорели за свою жисть, и то ничё. Ишо не хватало, чтоб я на тебя, девка, сердилась. Чё бы я без тебя делала? Я ить тебя со вчерашнего дня жду. Ты завтра-то тоже приди к мне, посидим ишо. Кажись, и жили долго, а и то не всё друг дружке сказали, не наговорелись. Мне и там без тебя будет тоскливо.

— Да я, старуня, может, раньше твоего помру.

— Ишо не лучше! Ране она моего помрёт. Ты бы хошь говорела, да не заговаривалась. Ты рази не слыхала, чё я тебе только сичас обсказывала? Я ить не приставлялась, я тебе правду сказала. И ты меня не путай.

— Я тебя не путаю.

— Ну и сиди, не спорь со мной.

— Я, однако, вот чё, — Мирониха привстала и через старуху потянулась к окну. — Я, однако, сбегая, досмотрю: может, она, страмина, пришла. Досмотрю и назадъ прибегу, посидю ишо с тобой. А ты покамест одна побудь.

— Ну дак беги, когда надо, я тебя не держу.

— Ты не думай, я быстро провернусь.

— Беги, девка, не оговаривайся».

Читая этот диалог, поражаешься мудрости, христианскому смирению и бесстрашию старухи Анны и тому, как автор, едва закончив жизненно-вступительную часть диалога, тут же направил его на разговор о самом главном, больном и вроде бы запретном, таком, о чём будто бы бестактно и жестоко говорить с лежащей на кровати старухой Анной, — о приближающейся её смерти. Но обе собеседницы обсуждают это совершенно спокойно: ведь в основе этого спокойствия лежит чувство естественной преемственности итоговой этой ноши — когда ощущаешь, что не ты один проходил испытание смертью, а что это доля каждого. И что каждый обязан пронести это крест с достоинством, и что гораздо важнее не ты сам, а забота о ближних, о родных ребятах: да, уж умереть бы в срок — «чтоб уж им не попусту приезжать».

Как? Как находит писатель нужные слова, ещё и не забывая досконально передать народную речь со всей её красотой и тонкостями? Как это удаётся? На каких весах красоты и меры свешато-выстрадано?

Авторы



АРУТЮНЯН ГАМЛЕТ АРМЕНАКОВИЧ (1952–2016)

Родился в деревне Каргино Красноярского края, где отбывали ссылку родители. В 1975 году окончил Красноярский медицинский институт. Работал хирургом-онкологом. Доктор медицинских наук. Издал семь сборников стихов: «Светает» (1990), «Плёт» (1994), «Друг Горацио» (1999), «Комариный клавесин» (2003), «Матушка» (2006), «Встревоженное небо» (2009), «Не остуди душу, хиус» (2016). Печатался в журналах «Енисей», «День и ночь».



БЕЛИКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1958 году в городе Чусовой Пермской области. Окончил Пермский университет (1980). Работал в газетах «Чусовской рабочий», «Молодая гвардия», был членом редколлегии журнала «Юность» (1992–1995), корреспондентом газет «Комсомольская правда» и «Трибуна»; сейчас — корреспондент «Литературной газеты». Печтается как поэт с 1975 года (первая публикация — в газете «Металлург»). Автор нескольких книг стихов. Публикации в журналах «Знамя», «Юность», «Огонёк», «День и ночь». Стихи включались в такие издания, как «Антология русского верлибра», «Самиздат века», «Антология русского лиризма. XX век», «Современная литература народов России». Составитель книг молодых поэтов в серии «Илья-Премия» (в том числе книги П. Чечёткина, А. Нитченко и другие). Член редколлегии журнала «День и ночь». Участник движения «дикороссов» и составитель поэтической антологии «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)» (2002).



ВОЛОКИТИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Родился 3 ноября 1956 года в Кызыле. По окончании Бугурус-ланского лётного училища служил пилотом в Красноярском отряде гражданской авиации. Окончил театральное отделение Красноярского художественного училища, работал в театрах города. С отличием окончил Красноярский художественный институт (мастерская живописи профессора, члена-корреспондента Российской академии художеств А. М. Знака), Российскую академию художеств (мастерская живописи академика А. П. Левитина). Член Союза художников России. Награждён золотой медалью Всероссийской выставки современного христианского искусства, медалью Российской академии художеств «За вклад в развитие искусства». Провёл семь персональных выставок. Его работы находятся в частных коллекциях и музейных собраниях России

и за рубежом. Живёт в Красноярске. Участник городских, краевых, региональных, всероссийских, зарубежных выставок. Провёл 7 персональных выставок. Работы находятся в частных коллекциях и музейных собраниях России и за рубежом. Художник живёт и работает в городе Красноярске.



ГЛУХОВА ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА

Родилась на Енисее, в селе Колмогорово, в 1947 году. Родители — учителя. Детство прошло в глухих таёжных посёлках среди старообрядцев, ссыльных и коренных местных жителей. С детства писала стихи. Работая в отделе труда Лесосибирского речного порта, написала летопись предприятия, включающую 130 небольших очерков о своих товарищах. Регулярно печатается в альманахе «Енисейский родослов». В Новоенисейском храме во имя апостола Андрея Первозванного ведёт детскую воскресную школу.



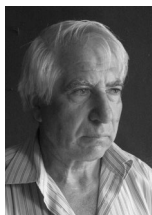
ЕРМОЛАЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

Родилась в посёлке Подтёсово Енисейского района Красноярского края. Окончила факультет театральной режиссуры Московского института культуры. Работала журналистом, воспитателем, руководила кукольным театром. С 1978 года заведует отделом поэзии журнала «Знамя». Автор нескольких поэтических сборников.



ЁЛТЫШЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился в 1950 году в Красноярске. По окончании педагогического института (филологический факультет) учительствовал в сельской и городской школах, служил в армии. С 1975-го — журналист: корреспондент, ответственный секретарь, редактор в краевых газетах и журналах. Стихи пишет всю жизнь, публиковал их в краевых и центральных газетах и журналах, коллективных сборниках, выпустил одну поэтическую книжку.



ЗАБЕЛЛО ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Сибирский поэт, прозаик. Родился в 1947 году в селе Утулик Слюдянского района Иркутской области, в семье лесника и охотника. В 1966–1969 годах служил на Тихоокеанском флоте. Более 20 лет работал на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате в должности электромонтёра. В середине 1980-х, в пик общественной борьбы за священное море, начал выступать в областной и центральной печати против вредного влияния комбината на экологию Байкала. Драматическая судьба великого озера — одна из основных тем в творчестве писателя. Автор книг «Ледостав» (1988), «Возвращение» (1990), «Осенний пал» (2001), «Избранное» (2007), «Где родился — там сгодился...» (2011). Лауреат премий святителя Иннокентия Иркутского, Алексея Васильевича Зверева, губернатора Иркутской области. Живёт в родном селе.



КУЗНЕЧИХИН СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ

Родился в посёлке Космынино под Костромой. После окончания химфака Калининского политехнического института уехал в Свирск, потом перебрался в Красноярск. За 20 лет работы инженером-наладчиком изъездил Сибирь от Урала до Дальнего Востока, от Тувы до Чукотки. Печатался в журналах «Предлог», «Коростель», «Арион», «Дальний Восток», «Литературная учёба», «Сибирские огни», «День и ночь», «Огни Кузбасса», в альманахе «День поэзии 1986», в коллективных сборниках. Автор книг стихов «Жёсткий вагон» (1979), «Соседи» (1984), «Поиски брода» (1991), «Похмелье» (1996), «Ненужные стихи» (2002), «Местное время» (2006), «Дополнительное время» (2010), «С точностью до шага» (2012), «Уходящее время» (2016). Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация» (Москва, «Советский писатель», 1990), «Омулёвая бочка» (Красноярск, 1994), «Где наша не пропадала» (Красноярск, 2005), «Забавный народ» (Красноярск, 2007), «Бич-рыба» (Москва, «Эксмо», 2014). Член Союза российских писателей.



КУЗЬМИНА МАРИЯ СТЕПАНОВНА

Родилась в селе Каменском Енисейского района. С 2005 года живёт в Лесосибирске. Выпускница филологического факультета Енисейского государственного педагогического института. Работала учителем русского языка, корреспондентом газеты «Приморские зори» Ханкайского района Приморского края. С детства пишет стихи. Печаталась в газетах «Приморские зори», «Енисейская правда», «Заря». К прозе обратилась недавно. Рассказы публиковались в альманахах «Енисейский родослов» и «Радуга». По итогам 2013 года — победитель енисейского городского конкурса стихов и прозы «Мир увлечений» в номинации «Проза».



МЕЛЬ СВЕТЛАНА ЛЕОНГАРДОВНА

Родилась 25 апреля 1960 года в Красноярске-26. Окончила механико-математический факультет Пермского государственного университета. Работала в НИИУМС (Пермь), с 1988 по 2016 год — в отделе информационных технологий строительной организации Железногорска. Стихи пишет с детства. Чуть позже начала писать песни на свои и чужие стихи. Участвовала в бардовских фестивалях в Перми, Красноярске, Ижевске, Ульяновске, Томске и других городах. Публиковаться начала с 1999 года в городской прессе, затем в различных альманахах. Первый сборник стихов «Блики и тени» вышел в Красноярском издательстве «Кларетианум» в конце 2000 года, «Тот нечаянный глоток» — в 2008-м. В 2010 году вышла книга на двух авторов «Два крылатых коня» в Железногорске, в 2014 году — «Наслоения». Подборки стихов печатались в журнале «Европейская словесность» (Кёльн). Член Союза российских писателей с 2011 года.



НЕСТЕРЕНКО ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ

Член Союза журналистов СССР, Союза писателей России. Печатался в ряде журналов, альманахов и коллективных сборников, изданных в Туве и Красноярске. Автор более десяти повестей и романов. Три книги для детей и юношества напечатаны ещё при советской власти. Трилогия «Перекасти-поле» о судьбе поволжских немцев опубликована в библиотеке журнала «Енисей» в 2006 году. В 2008 году трилогия издана в Москве. В 2009 году в дополненной редакции трилогия в четвёртый раз издана в Красноярске и переведена на немецкий язык в Германии. В 2006 году стал редактором и автором ежегодного альманаха «Истоки». Автор детских литературных порталов «БрайлЛенд» и «Я САМ» Международного творческого объединения детских авторов (МТО ДА). Живёт в селе Сухобузимское Красноярского края.



НОВОСЕЛЬЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Член нескольких творческих союзов: Союза писателей России, Союза писателей Сербии, Союза архитекторов России. Советник Российской академии архитектуры и строительных наук. Автор научных и научно-популярных книг и статей по истории и архитектуре Елецкого края, литературоведческих работ. По его проектам построены и отреставрированы храмы, жилые и общественные здания. Живёт в Ельце и деревне Польское, рядом с бунинскими Озёрками. Пишет прозу, в которой преобладает тема родной земли, уходящей русской деревни и её жителей. Первая же книга прозы «Пал» была отмечена высшей литературной наградой Союза писателей России за 2006 год — Большой литературной премией России. Успехи в области литературы отмечены также Всероссийской премией «Имперская культура», Шукшинской и Бунинской премиями, Патриаршей грамотой.



РОЗМАНОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

Родилась на Ангаре, в селе Стрелка Енисейского района Красноярского края, в 1965 году. Окончила гуманитарный факультет Сибирского государственного технологического университета, аспирантуру, преподавала социологию управления и организации, социальную политику. Публиковалась в журналах «Родина», «Народное образование», «Сибирский педагогический журнал» и других. В 2013 году в издательстве «Буква» вышла её книга «Старожилы Сибири».



САВВИНЫХ МАРИНА ОЛЕГОВНА

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике — с 1973 года: журналы «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «LiteraruS» (Хельсинки), «По-бережье» (Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско),

еженедельник «Обзор» (Чикаго), коллективные сборники и антологии. Автор семи книг стихов, прозы, художественной публицистики. Первый лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева (1994). Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Главный редактор литературного журнала «День и ночь». Член Союза российских писателей, Международного ПЕН-клуба. Член президиума Международного Союза писателей XXI века.



ТАРКОВСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Русский поэт и писатель, около 30 лет живущий в селе Бахта Туруханского района Красноярского края. Родился в 1958 году в Москве. После окончания пединститута имени Ленина (отделение «География-биология») уехал в Туруханский район, где работал сначала полевым зоологом, а позже охотником. Автор рассказов, повестей и очерков о жизни таёжных охотников и рыбаков, жителей Енисея. Лауреат ряда литературных премий: журналов «Наш современник», «Роман-газета», Соколова-Микитова, Шишкова, «Ясная Поляна» имени Л. Н. Толстого и других. Член Союза писателей России.



ХУГАЕВ ИРЛАН СЕРГЕЕВИЧ

Выпускник филологического факультета Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Хетагурова; преподавал в школах Северной Осетии-Алании, на филологическом факультете СОГУ, в Новом гуманитарном университете Н. Нестеровой (Москва). Доктор филологических наук, старший научный сотрудник Владикавказского научного центра РАН и РСО-А. Публикации в журналах «Дарьял», «День и ночь».



ШЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЛАРИОНОВИЧ

Родился в 1939 году в селе Таскино на юге Красноярского края. В различных вузах окончил с отличием факультеты истории и филологии, экономики и журналистики. Работал учителем, журналистом, редактором Красноярского книжного издательства. В 2003–2007 годах возглавлял Красноярское региональное отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, изданных в Москве и Красноярске. Печатался во многих журналах СССР и России. Заслуженный работник культуры РФ. Академик Петровской академии наук и искусств. Лауреат региональных и российских журналистских и литературных премий. Награждён медалью «За трудовую доблесть», почётными знаками «300 лет российской прессь», «100 лет М. А. Шолохову», «Золотое перо» и др. Член Союза писателей России, Союза журналистов России. Живёт в Красноярске.



ЯРЦЕВ ВАДИМ АРКАДЬЕВИЧ (1967–2012)

Сибирский поэт. Родился в деревне Пашино под Новосибирском, с пяти лет жил в Усть-Куте — небольшом портовом

городке на севере Иркутской области. Работал грузчиком, диспетчером, начальником смены, мастером по отгрузке леса, сторожем, учителем истории. В числе местных авторов — членов литературного клуба «Причал» изредка печатался в районной газете. С публикациями в известных изданиях все эти годы не получалось: совестливая поэзия Вадима Ярцева оказалась невостребованной в демократической России. И лишь за год до смерти поэта в иркутском альманахе «Сибирь» вышла первая большая самостоятельная подборка. Автор книг «И всё же несколько минут я был свободен!» (2010) и «Марш славянки» (издана посмертно). Похоронен на городском кладбище в Усть-Куте.

АЛЕКСАНДР ВОЛОКИТИН



Яблоки | 2006



Сухие подсолнухи | 2005



Портрет купца | 2008



Несущие крест | 2012



Сухой букет | 2005



Водолаз Лукьянов | 2009



Весна в городе | 2012



Натюрморт на чёрном | 2005



Куклы | 2005



Ангелы творения | 2005



Человек спасённый | 2005



Ведущая по пути | 2015



Взгляд | 1997



Церковный сторож | 2001



ГОД РОССИЙСКОГО
КИНО 2016